DOI: 10.31860/978-5-918680-445-268-388

К ИСТОРИИ РАННЕГО РУССКОГО СИМВОЛИЗМА. ПЕРЕПИСКА Л. Я. ГУРЕВИЧ С Н. М. МИНСКИМ

(Вступительная статья, подготовка текста и комментарии М. М. Павловой)

Аннотация: В публикации представлена двухсторонняя переписка Л. Я. Гуревич — издательницы журнала «Северный вестник» (1891—1898) и Н. М. Минского — одного из видных поэтов старшего поколения символистов, относящаяся к 1887—1898 гг. (документы хранятся в фондах РГАЛИ и Рукописного отдела ИРЛИ РАН). Эпистолярий отражает сложную историю взаимоотношений корреспондентов: неудавшуюся попытку создания мистического «тройственного» союза (совместно с А. Волынским; 1887—1888), разрыв; возобновление деловых и дружеских контактов в годы сотрудничества Минского в «Северном вестнике». Вводимые в научный оборот документы позволяют сфокусировать внимание на фигуре Л. Гуревич в период ее вхождения в литературу и эстетического самоопределения; осветить неочевидные стороны биографии Н. Минского; расширить круг источников для изучения истории журналистики и раннего русского модернизма.

Ключевые слова: Л. Я. Гуревич, Н. М. Минский, А. Л. Волынский; переписка, история отношений, «Северный вестник» (1891—1898), русская литература конца XIX в.

Abstract: The publication presents a two-way correspondence between L. Ya. Gurevich — the publisher of the magazine “Severny Vestnik” (1891—1898), and N. M. Minsky — one of the largest poets of the older generation of symbolists, dating back to 1887—1898 (the documents are kept in the funds of the RGALI and the Manuscript Department of the IRLI RAS). The correspondence reflects the difficult history of the correspondents’ relationships: the failed attempt to create a mystical “triple” union (with A. Volynsky; 1887—1888); the rupture; the resumption of business and friendly contacts during the years of Minsky’s cooperation in the “Severny Vestnik”. The documents introduced into scientific circulation allow us to focus on the figure of L. Gurevich — the publisher of the first journal of Russian modernism in the years of her formation and aesthetic self-determination; to highlight the non-obvious sides of the biography of N. Minsky; to expand the range of sources for studying the history of journalism and early Russian modernism.

Keywords: L. Ya. Gurevich, N. M. Minsky, A. L. Volynsky; correspondence, history of relations, “Severny Vestnik” (1891—1898), Russian literature of the late 19th century.

Переписка Любови Яковлевны Гуревич (1866—1840) с Николаем Максимовичем Минским (наст. фам. — Виленкин; 1855—1937) отно-

© Павлова М. М., 2024

сится к 1887—1898 гг. — отрезку времени, соединившему в себе две литературные эпохи — пре-символистскую[1] и раннего русского символизма, в становлении которого каждому из них принадлежала не последняя роль. В своей литературной деятельности, мировоззренческой позиции и личных отношениях, что со всей очевидностью эксплицируют публикуемые письма, они предвосхитили жизнетворческие стратегии писателей-символистов следующей формации.

В историю литературы Л. Гуревич, автор ничем не выделявшихся из потока современной беллетристики романа «Плоскогорье» (1897) и сборника «“Седок” и другие рассказы» (1904), вошла как талантливая переводчица, авторитетный критик и театровед; но, прежде всего, как издательница «Северного вестника» (1891—1898) — первого журнала русского модернизма. Историография этого культурного феномена в настоящее время основательно изучена, начиная с давних работ Д. Е. Максимова и П. В. Куприяновского и вплоть до позднейших изысканий Н. А. Богомолова и К. М. Азадовского[2]. Публикуемые письма позволяют сфокусировать внимание непосредственно на фигуре издательницы (в период становления и эстетического самоопределения)[3], а также осветить неочевидные стороны биографии Н. Минского — одного из ведущих поэтов раннего символизма.

---

[1] См.: *Минц З. Г.* «Новые романтики»: к проблеме русского пресимволизма // *Минц З. Г.* Блок и русский символизм: избранные труды: в 3 кн.: СПб.: Искусство — СПб, 2004. Кн. 3: Поэтика русского символизма. С. 162—174.

[2] См.: *Евгеньев-Максимов В.*, *Максимов Д.* Из прошлого русской журналистики. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. С. 85—128; *Куприяновский П. В.* 1) Поэты-символисты в журнале «Северный вестник» // Русская советская поэзия и стиховедение: (материалы межвуз. конф.) / Московский обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. М.: [б. и.], 1969. С. 125—129; 2) История журнала «Северный Вестник» // Учен. зап. Ивановского пед. ин-та им. Д. А. Фурманова. 1970. Т. 59. С. 51—89. Подробная библиография приведена в кн.: История русской литературы XIX — начала XX века: Библиогр. указ. Общая часть / под ред. К. Д. Муратовой. СПб.: Наука, 1993. С. 402—404; *Богомолов Н. А.* Печать русского символизма: крат. очерк. Saarbrücken, 2012. С. 99—100; в прим. к кн.: *Куприяновский П. В.* «Оглядываюсь на прошлое...»: журнал «Северный вестник» 1890-х годов и его литературная позиция. Воронеж: ИПФ «Воронеж», 2009; из не учтенных там работ назовем: *Павлова М.* «Этот пресловутый плевок в лицо...»: из истории журнала *Северный вестник* // New Studies in Modern Russian Literature and Culture: Essays in Honor of Stanley J. Rabinowitz / ed. by Catherine Ciepela and Lazar Fleishman. Stanford, 2014. P. 117—137 (Stanford Slavic Studies; vol. 45); *Богомолов Н. А.* В Ясной Поляне 125 лет тому назад // Русская литература. 2018. № 3. С. 170—180; *Азадовский К. М.* Венский акцент: Федор Сологуб и его переводчик // Там же. 2021. № 1. С. 121—145. *Павлова М. М., Богомолов Н. А.* Из воспоминаний Л. Я. Гуревич о журнале «Северный вестник». Статья первая // Литературный факт. 2021. № 1 (19). С. 8—60. *Павлова М. М.* Из воспоминаний Л. Я. Гуревич о журнале «Северный вестник». Статья вторая // Там же. № 3 (21). С. 108—154.

[3] Впервые эта тема была затронута в статье Ст. Рабиновича: *Rabinowitz Stanley J.* No Room of Her Own: The Early Life and Career of Liubov' Gurevich // The Russian Review. 1998. № 57. April. P. 236—252.

Письма Л. Гуревич (всего 43) хранятся в Рукописном отделе Пушкинского Дома в фонде Н. Минского и З. Венгеровой (РО ИРЛИ, ф. 39, оп. 1, ед. хр. 214), здесь же в фонде Гуревич и журнала «Северный вестник»[4] отложились 11 писем Н. Минского — 1893—1897 гг., в их числе одно 1913 г. (РО ИРЛИ, № 20003); 15 писем Минского 1887—1889 гг. содержатся в личном фонде Гуревич в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153). Переписка сохранилась не в полном объеме, в ней просматриваются очевидные лакуны (например, отсутствуют корреспонденции за вторую половину 1891-го и 1892 г.).

Взаимоотношения Гуревич и Минского не были ровными и непрерывными, что отразилось на переписке, в которой выделяются два хронологически обособленных периода: первый — период романтической дружбы-влюбленности (1887—1888), когда обмен письмами был наиболее интенсивным; второй (1891—1898) — связанный с сотрудничеством Минского в журнале Гуревич и А. Волынского «Северный вестник».

К ранним корреспонденциям адресантка приложила сопроводительные записки: 1) «Личные письма Н. Минского 1887—1888. Пачка XVIII. Вскрыть не ранее 1935 г.»; 2) «Письма Н. М. Виленкина-Минского, с которым мы были близки одно время осенью 1887 г., когда я только начинала свою литер<атурную> работу, затем разошлись и видались редко до весны 1895 г., когда Минский, заболев острым туберкулезом, уехал под Монте-Карло и, ввиду необходимости срочного отдыха для меня, звал меня туда, как в подходящее климатически место. Вскоре туда приехала и З. А. Венгерова[5], и мы жили в одном отеле — сначала под Монте-Карло, потом в Ospedalletti — около 6 недель, пока я не уехала. Тут мы опять подружились, и я просила Минского по возвращении его в СПб. взять на себя обязанности секретаря “Северного Вестника”, что и осуществилось поздней весной 1895 г. и продолжалось около года. Летом 1895 мы жили с ним и с З. А. Венгеровой вместе на даче в Павловске. Л. Гуревич»[6].

Публикуемый двухсторонний эпистолярий позволяет развернуть этот краткий синопсис, наполнить его событиями и фактами.

Ко времени знакомства с Н. Минским Любовь Гуревич еще только входила в литературу. Дочь известного петербургского педагога

---

[4] Обзор фонда см.: *Гречишкин С. С.* Архив Л. Я. Гуревич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л.: Наука, 1978. С. 3—29.

[5] *Венгерова Зинаида Афанасьевна* (1867—1941) — переводчица, критик и историк западноевропейской литературы; сотрудничала в «Северном вестнике», автор статей о Прерафаэлитском братстве, П. Верлене, Ж. К. Гюисмансе, У. Блейке и мн. др., которые затем вошли в ее двухтомник «Литературные характеристики» (СПб., 1897; 1913); подруга Минского, впоследствии его (третья) жена, официальный брак заключен в 1925 г. в эмиграции в Париже.

[6] РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 6.

Я. Г. Гуревича[7] — директора собственной гимназии и реального училища, бестужевка (в 1884—1888 гг. она обучалась на историко-филологическом отделении Высших женских Бестужевских курсов), горячая поборница женской эмансипации, увлекавшаяся «героями подпольной русской революции»[8], «последовательница Конта во всем, что касается знания», как она аттестовала себя в одном из писем к Минскому[9], собиралась продолжить образование в Лейпцигском университете в лаборатории В. Вундта (основателя экспериментальной психологии); ее в равной степени интересовало изучение психологии, философии, истории.

Летом 1887 г. она опубликовала свою первую газетную заметку, посвященную памяти Марии Константиновны Башкирцевой (1858—1884)[10], с творчеством которой ей довелось познакомиться во время пребывания в Париже в 1886 г. Личность рано умершей художницы, одной из предтеч русского декадентства, захватила юную Гуревич. Башкирцева, которую она «возлюбила, как родную душу»[11], стала для нее путеводной звездой, символом независимости и творческой свободы.

В ту пору Минский уже был заметной фигурой в кругу поэтов-восьмидесятников: сотрудник «Северного вестника» А. М. Евреиновой и Н. К. Михайловского (1885—1889) и «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, автор двух поэтических книг (СПб., 1883, тираж уничтожен по распоряжению цензуры; СПб., 1887), ходившей в списках запрещенной поэмы «Гефсиманская ночь» (1884) и нашумевшей статьи «Старинный спор» (1884), вызвавшей осуждение в народническом лагере за отход автора от идеалов гражданственности и апологию «чистого искусства»[12].

---

[7] *Гуревич Яков Григорьевич* (1841—1906) — историк, педагог, благотворитель; с 1883 г. директор учебного заведения, получившего его имя — Гимназия и Реальное училище Гуревича; с 1890 г. редактор журнала «Русская школа»; профессор.

[8] *Гуревич Л.* История «Северного Вестника» // Русская литература XX века / под ред. проф. С.А. Венгерова. М.: изд. т-ва «Мир», 1915. Ч. I. Т. II. С. 236.

[9] См. п. 2, с. 287 наст. изд.

[10] *Башкирцева Мария Константиновна* (1858—1884) — художница, автор дневника; одна из предтеч русского декадентства. Л. Я. Гуревич посвятила ей несколько работ: «Памяти М. Башкирцевой» (Новости и Биржевая газета. 1-е изд. 1887. 11 июля), «М. К. Башкирцева (биографическо-психологический этюд)» (Русское богатство. 1888. № 2. С. 73—122). Гуревич перевела и опубликовала полученный от родственников художницы ее дневник (Северный вестник [далее: *СВ*]. 1892. № 1—12), впоследствии неоднократно переиздававшийся.

[11] *Гуревич Л.* История «Северного Вестника» // Русская литература XX века / под ред. проф. С. А. Венгерова. С. 237.

[12] Статья Минского «Старинный спор» (опубл.: Заря (Киев). 1884. 29 авг. № 193. С. 1) спровоцировала полемику вокруг проблемы «чистого искусства». Михайловский в «Заметках о поэзии и поэтах» (март 1888 г.) порицал Минского и И. Ясинского, инициировавшего полемику, за эстетизм и отказ от идеалов общественного служения (*Михайловский Н. К.* Собр. соч. СПб.: ред. журн. «Русское бо-

Для поколения Гуревич поэт был несомненным авторитетом. «Не понимаю, почему в восьмидесятых годах Надсон так затмил Минского, — вспоминал В. В. Вересаев (ровесник Гуревич). — Надсон, бесспорно, был лиричнее, задушевнее, доступнее Минского. Но Минский был глубже, мужественнее и гораздо полнее отражал настроения эпохи. Особенно в больших своих поэмах: “Белые ночи”, “Песни о родине”, “Гефсиманская ночь”. Минский почему-то не спешил издавать сборника своих стихов, мы их разыскивали в старых книжках “Вестника Европы” и “Русской мысли”»[13].

«Я познакомилась с Минским в 1887 г., — рассказывала Гуревич в письме к Э. Мешингу[14]. — Ему было тогда за тридцать, и репутация его как талантливого поэта была уже очень значительна. Еще в гимназии я переписывала его стихи, запрещенные цензурою и ходившие по рукам в списках[15]: он был известен как поэт-радикал, поэт гражданской и мировой скорби. Я представляла его себе высоким, бледным, грустным... Однажды — мне было тогда 20 лет — я пришла в дом Давыдовой[16], где организован был кружок для чтений рефератов и где собирался tout Petersburg — литературный и музыкальный. Я пришла, чтобы сообщить тему своего реферата. Войдя в комнату, я увидела m-me Д<авыдову>, полулежащую на кушетке, а в ногах у нее маленького господина, наружность которого крайне неприятно поразила ме-

---

гатство», 1897. Т. 6. С. 590—610). Подробнее см.: *Минц З. Г.* Статья Н. Минского «Старинный спор» и ее место в становлении русского символизма // *Минц З. Г.* Блок и русский символизм: избранные труды: в 3 кн. Кн. 3. С. 150—161.

[13] *Вересаев В. В.* Литературные воспоминания // *Вересаев В. В.* Собр. соч.: в 5 т. / подг. текста и прим. В. М. Нольде и Ю. У. Бабушкина. М.: Правда, 1961. Т. 5. С. 264, 267—268 (гл. «В студенческие годы»).

[14] *Мешинг Эдгар Иванович* (Mesching Edgar; 1875—1933) — близкий друг Л. Я. Гуревич (они познакомились в 1898 г. по переписке); из прибалтийских немцев; изучал философию и экономику в Берлинском и Цюрихском университетах; в нач. 1890-х гг. обосновался в Петербурге, служил в качестве корреспондента немецкой газеты «Frankfurt Zeitung», сотрудничал в «St. Petersburger Zeitung» — главной газете российских немцев; в круг его интересов, наряду с политикой, входили литература, искусство, театр. См. о нем: Забытые воспоминания Э. Мешинга о Ф. Сологубе / публ. С. Исакова // Блоковский сборник XVII: Русский модернизм и литература XX века. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. С. 233—238.

[15] Имеются в виду поэмы — «Последняя исповедь» (1879), опубл. в нелегальной газете «Народная воля» (1879. 1 окт., с посвящением: «казненным»), а также «Гефсиманская ночь» (1884), публикация которой предполагалась в шестой книжке «Вестника Европы» 1884 г., но была запрещена Комитетом духовной цензуры; текст поэмы ходил в бесчисленных списках, впервые (под заглавием «Искушение»): Пушкинский сборник, 1799—1899. СПб.: тип. А. С. Суворина, 1899.

[16] *Давыдова* (урожд. Горожанская) *Александра Аркадьевна* (1849—1902) — издательница журнала «Мир Божий», жена выдающегося виолончелиста, директора С.-Петербургской консерватории К. Ю. Давыдова, хозяйка народнического салона; в 1885—1889 гг. секретарь «Северного вестника» (в эти годы выходил под редакцией А. М. Евреиновой).

ня: узкие, маслянистые черные глаза, приплюснутый нос, малиновые щеки, черные волосы — как у негра, бородка каким-то неопрятным клочком... Он сейчас же стал очень неприятно смотреть на меня в упор. “Минский!” — сказала Д<авыдова>, представляя его мне. Я едва поверила и не решалась смотреть на него. Д<авыдова> спросила меня, о чем я буду читать. “О Гамлете. У меня есть на него свой взгляд!” — важно заявила я. Минский вдруг рассмеялся: “Вы? О Гамлете? Извините, — сколько Вам лет? 16 исполнилось?..” И он расхохотался, не переставая извиняться. “Во-первых, мне не 16, а уже 20 лет, — ответила я с некоторой досадой, — а во-вторых, — чего ж смеяться?..” — “Извините, я слышал о Вас, но никак не думал, что Вы смотрите таким ребенком...” Я посмотрела на него, подумала, что это — Минский и тоже расхохоталась изо всех сил. Он обиделся и спросил, чего я смеюсь? Я отвечала сквозь смех: “Тому, что Вы — Минский и что Вы — такой! О, вот я не ожидала! Я думала, что Вы — высокий, бледный, а Вы...” И мы хохотали друг над другом.

Через год он пришел ко мне вместе с Ф<лексером>»[17].

Сближение с Минским и его товарищем Акимом Львовичем Волынским[18] (наст. имя — Хаим Лейбович Флексер; 1863—1926) — в те годы начинавшим свою критическую деятельность публикациями в журнале «Восход» А. Е. Ландау и «Северном вестнике»,[19] предопределило жизненный путь Гуревич на ближайшее десятилетие, способствовало расширению ее литературных знакомств, шлифовке эстетических взглядов и культурных предпочтений, которыми она впоследствии руководствовалась в формировании портфеля «Северного вестника».

Первое письмо Минского датировано 29 сент. 1887 г., а уже через несколько дней он писал ей: «Судьба послала мне Ф<лексера> и Вас,

---

[17] Письмо Гуревич к Мешингу от мая 1898 г.: Русские Modernen — Зинаида Гиппиус и Николай Минский (из писем Любови Гуревич к Эдгару Мешингу) / вступ. ст. и комм. М. М. Павловой и С. Рабиновича; подг. текста М. М. Павловой и К. В. Яковлевой // Русская литература. 2010. № 2. С. 112.

[18] Минского и Волынского связывали теплые дружеские отношения, см. письма Минского к Волынскому (1888—1894): РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 39; ответные (1886—1895): РО ИРЛИ, ф. 39, оп. 1, ед. хр. 363. Отдельные фрагменты писем Минского опубл.: Ранние символисты: Н. Минский, А. Добролюбов. Стихотворения и поэмы / вступ. ст., подг. текста, прим. А. А. Кобринского и С. В. Сапожкова. СПб.: Акад. проект, 2005. С. 46—47 и др. (Новая Библиотека поэта), далее сокращенно: *БП*, с указанием страницы.

[19] Ранние статьи Волынского были посвящены еврейской тематике и печатались в русско-еврейских журналах «Рассвет», «Русский еврей» и «Восход»; он был автором и одним из редакторов антологии «Палестина» (СПб., 1884). См: *Векker Б.* Библиография трудов А. Л. Волынского // Памяти Акима Львовича Волынского: сборник под ред. П. Н. Медведева. Л.: Изд. С. П., 1928. С. 83—84. Обзор публикаций этого периода см.: *Толстая Е. Д.* Бедный рыцарь: интеллектуальное странствие Акима Волынского. М.: Мосты культуры, 2013. С. 18—30.

когда я наглухо застывал в своей раковине, в полной уверенности, что померкло для меня солнце любви и месяц дружбы. <...> Даже не понимаю, как бы я теперь мог жить без Ф<лексера> и Вас. С Ф<лексером> я вижусь часто, почти ежедневно, с Вами так часто видеться нельзя» (п. 5).

По инициативе Минского они устроили кружок для совместных занятий философией и обсуждения вопросов современной литературной жизни, собирались два раза в неделю у Гуревич. «Они оба были так различны и оба, казалось, так близки мне, — вспоминала она впоследствии. — Волынский был всего на три года старше меня, но сразу внушил мне особенное уважение своей философской образованностью, беспощадным умом, равнодушием ко всему житейскому, суровым аскетическим образом жизни. <...> Минский, уже не первой молодости, был горячий и зыбкий. Я сразу ощутила его недостатки, но полюбила его ум и талант»[20].

Между членами кружка установились тесные доверительные отношения — Гуревич посылает им обоим страницы из своего интимного дневника, Минский пересказывает Волынскому содержание полученных от нее писем, Волынский читает письма Минского, адресованные ей, и подсказывает содержание ответных (своего рода опыт десакрализации интимного текста — характерный для будущей символистской культуры).

В короткое время интеллектуальный союз трех преобразовался в любовный треугольник. Минский переживал страстную, требовательную влюбленность в Гуревич, протестуя против ее аскетического канона безбрачия (отказа от Эроса). Она же видела в нем духовного наставника («педагога»), отдавая предпочтение Волынскому, который отвечал ей взаимностью, разделяя в душе идеал девства[21]. В те же осенние месяцы 1887 г. начался их многолетний «белый» роман («Я люблю тебя до сумасшествия, — писал он Гуревич, — как свои высшие идеалы, как то свое призванье, на алтарь которого я приношу всего себя со всеми моими надеждами и порывами. Если моя любовь

[20] *Гуревич Л.* История «Северного вестника» // Русская литература XX века / под ред. проф. С. А. Венгерова. М.: изд. т-ва «Мир», 1915. Ч. I. Т. II. С. 238.

[21] История платонической любви-дружбы Волынского и Гуревич запечатлелась в их переписке: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 104—106. Волынский был женат ранним браком на Теме Угер, от которой имел сына (умер в младенчестве) и дочь (Мэри Акимовна Зеликина, урожд. Флексер; 1887—1953); официальный развод состоялся в 1896 г. О взаимоотношениях Гуревич и Волынского см.: *Павлова М. М.* Из воспоминаний Л. Я. Гуревич о журнале «Северный вестник». Статья вторая // Литературный факт. 2021. № 3 (21). С. 112—115 (запись Л. Я. Гуревич «Милые воспоминания»); в мемуарно-критическом очерке Волынского «Запоздалая друидесса» (1923): *Волынский А. Л.* Русские женщины / предисл., комм., публ. А. Л. Евстигнеевой // Минувшее: исторический альманах. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. Вып. 17. С. 249—250 (впервые: Жизнь искусства. 1924. № 6 (930). С. 17—19).

тебе нужна, то знай, что нет во мне теперь чувства глубже этой любви»[22]).

«Тройственный» или «мистический» союз, как назвал его Минский[23], — самый ранний и непродолжительный триангулярный союз в истории русского модернизма[24], распался. Волынский, осуждавший Минского за разрыв с Гуревич, в то же время писал ей: «...несомненно, что Минский “влюблен” был взаправду. Только отчего же *ты* не полюбила его? Где разгадка любовных капризов? И почему судьбе понадобилось нас соединить узами привязанности — точно наперекор нашим анахоретским тенденциям! Я вижу перст Бога — все идет наперекор воле человека. Ты собираешься жить один-одинешенек, так вот же и нет: на тебе Любу, а Любе на Флексера, и не бывать Вашему одиночеству. Разве это не перст Всевышнего? Но я рад, я счастлив. Не могу себе даже представить, как бы я жил теперь без тебя»[25].

«Conte d’amour» и пережитое Гуревич разочарование в Минском во всех подробностях запечатлелись в переписке с ним 1887—1888 гг. и ее дневниковых записках[26].

Десять лет спустя в письме к Э. Мешингу она подвела черту под этой историей: «Они ходили очень часто, чуть не ежедневно, и я узнала Минского с совершенно другой стороны. На короткое время он поразил мое воображение своим духовным томлением, <*приписка вверху листа:* * Как раз в это время, осенью 1887 г., вышло собрание его стихотворений, в кот<ором> мне было очень близко по духу его стихотв<орение> “Как сон пройдут дела”, новое для меня>; своим едким и в своем роде глубоким умом и своей дерзкой страстностью в отношениях с женщинами. В этой страстности было, однако, какое-то утомление, слова его были одновременно жгучи и рассудочны, слегка риторичны. Я чувствовала в нем “испорченного” человека, которому многие много позволяли. Я пробовала сделать его своим другом, получить от него помощь духовную, п<отому> ч<то> я была страшно взволнована философскими и психологическими вопросами, не зна-

[22] РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 104, л. 131—132.

[23] Идея мистического тройственного союза предположительно восходит к роману О. де Бальзака «Серафита» (1835; в рус. пер.: 1891; в собр. соч. Бальзака вошел в том, озаглавленный «Мистическая книга»); подробно об этом источнике см.: *Блинова О. А.* «Серафита» Оноре де Бальзака и концепт тройственного союза у Гиппиус и Мережковского // Мережковские и Европа / под общ. ред. В. В. Полонского, ред.-сост.: Е. А. Андрущенко, О. А. Блинова, В. М. Введенская. М.: ИМЛИ РАН, 2023. С. 151—172. Роман мог быть известен Минскому — в 1879—1880 гг. он жил в Париже в качестве учителя детей банкира бар. Г. О. Гинцбурга.

[24] Тема «тройственных» союзов подробно освещается в монографии О. Матич «Эротическая утопия. Новое религиозное сознание и fin de siècle в России» (М.: Новое лит. обозрение, 2008). С. 202—218 и др.

[25] РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 104, л. 135.

[26] Подробные записи Гуревич за осень 1887 г. о взаимоотношениях с Минским и Волынским см.: Там же, ед. хр. 29, 31.

ла, что делать с собою. <...> Через полгода он прервал знакомство со мною, совершенно недовольный, даже оскорбленный. Другие люди заслонили его от меня. В последнем письме, в котором он говорит о том, что прервет знакомство со мною, он писал про себя характерные слова: “Я, действительно, уродливое приземистое дерево, однако, на этом дереве растут не совсем обыкновенные плоды”[27]. <...> Он сам говорит, что *долго* способен любить только такую женщину, которая презирала бы его за его уродство (ибо — чего уж она стоит если не видит этого уродства?), и в то же время умела бы отравить его пресыщенные нервы, его кровь “вызывающим” поведением. <...> Неприятно и тяжело видеть, как мало благородства у этого талантливого, тонкого, умного человека во всем том, что требует деликатности, искренности и мужества. Увы, он тоже принадлежит к “всеядным”. Настоящий Moderne! Как он жалок во всех случаях, когда нужно разрешить человечный вопрос. Как легко мысль его обращается на “старые” пути, когда нужно найти жизненный выход из того или другого положения»[28].

Содержание переписки 1887—1889 гг. не исчерпывается романтическим сюжетом, в ней также слышны отголоски литературных событий, прежде всего, газетно-журнальной полемики вокруг сборника «Стихотворений» Минского, вышедшего в начале октября 1887 г. Книга была встречена по преимуществу негативными и сдержанными отзывами как со стороны народнической и либерально-демократической печати, так и охранительной[29]. Одни не могли простить Минскому статьи «Старинный спор», другие переводили обсуждение в национальную плоскость — открыто или завуалированно протестовали против нарождавшейся русско-еврейской культуры, проникновения в отечественную литературу «инородческого» элемента.

Обе тенденции в той или иной степени сказались в рецензии А. М. Скабичевского (Новости и Биржевая газета. 1887. 5 нояб. № 304. С. 2). Обозревая книгу Минского, заслуженный критик снисходительно аттестовал его поэтиком-лилипутиком, с «претензией на титанизм» («Да не огорчится г. Минский, если я его считаю не поэтом, а поэтиком. <...> цель — искреннее желание принести г. Минскому посильную пользу с своей стороны: самая же большая услуга, какую я в силах оказать ему, это довести его до истинного самосознания относительно своих сил» и т. д.). В ответ Минский отправил в редакцию газеты «Открытое письмо» с требованием публичного извинения. Фрагмент этого письма Скабичевский привел в следующей статье (Там же. 12 нояб. № 311. С. 2). Продолжая тему «лилипутской» поэзии, он заявил, что Минский, не в пример недавно ушедшему Надсону

[27] Цитата из письма Минского к Гуревич от 22 нояб. 1887 г., см. с. 333 наст. изд.

[28] Русские Modernen — Зинаида Гиппиус и Николай Минский (из писем Любови Гуревич к Эдгару Мешингу). С. 116—117.

[29] Обзор критических откликов см.: *БП.* С. 340—344 (комм. С. В. Сапожкова).

(умер 31 янв. 1887 г.), имевшему некоторое основание со временем стать настоящим поэтом, никогда не приблизится к русскому Пантеону, а в заключение поставил ему на вид участие в дискуссии о задачах науки и искусства, инициированной И. Ясинским в киевской газете «Заря» (июль—август 1884 г.), и статью «Старинный спор»: Минский «...провел ту доблестную идею, что поэты не нуждаются ни в каких науках, потому что искусство куда выше всех наук: ученые только и делают, что изучают наш тленный мир; поэты же творят новые миры; что же касается критиков, то не они создают поэтов, а, напротив, поэты вызывают критиков; и поэтому критики, дерзающие предписывать поэтам какие-либо законы, уподобляются яйцам, учащим куриц. <...> Этот фельетон г. Минского очень пришелся по душе большинству молодых поэтиков, плохо в детстве учащихся и потому не питающих уважения к наукам. <...> все они в точности выполняют завет г. Ясинского и г. Минского: они не только не признают никакого направления, но для них не существует никаких законов, ни эстетических, ни нравственных» и т. д. Филиппики Скабичевского подхватили зоилы из «Гражданина» и «Нового времени»[30]; 13 ноября возмущенный Минский вновь писал ему: «Только что прочем фельетон Буренина: “Теперь г. Скабичевский произнес именно то, что я всегда говорил”. Поздравляю Вас. Тем более что Буренин вполне прав»[31].

В полемику включился Волынский («Два слова о “жидовстве” в русской литературе»: Недельная хроника «Восхода». 1887. № 47. 22 нояб.), немногим позднее Скабичевскому ответил Н. К. Михайловский (Северный вестник. 1888. № 1. Отд. II. С. 120—140). Этот, во многих отношениях знаковый, историко-литературный сюжет заслуживает отдельной публикации[32], здесь мы его разворачивать не имеем возможности (необходимые пояснения даны в комментариях к переписке). Отметим только, что еще до начала полемики Волынский поддержал книгу товарища двумя положительными рецензиями, в которых назвал его библейские поэмы «Вавилонское столпотворение» и «Прокаженный»[33] «лучшими созданиями молодой русской поэзии»[34].

---

[30] Литературное обозрение // Гражданин. 1887. 12 нояб. № 43. С. 3: подпись: *Кр.* — см. прим. 2 к п. 22; *Буренин В.* Критические очерки: Скандал, шарлатанство, психопатия // Новое время. 1887. 13 нояб. № 4206. С. 2. *Буренин Виктор Петрович* (1841—1926) — литературный и театральный критик; ведущий публицист «Нового времени», известный своими фельетонами и пародиями на современных писателей, главным образом, модернистов.

[31] РО ИРЛИ, ф. 282, оп. 2, ед. хр. 136, л. 3.

[32] Подробно см.: *Павлова М. М.* Заложник «Старинного спора»: вокруг «Стихотворений» (1887) Н. Минского // Русская литература. 2024. № 4.

[33] *Волынский А.* Библия в русской поэзии. Этюд второй // Восход. 1887. № 9. С. 64—74; *Б. п.* <*Волынский А.*> Заметки литературные, художественные и др. // Недельная хроника «Восхода». 1887. № 43. 25 окт. С. 1090.

[34] *Волынский А.* Библия в русской поэзии. Этюд второй // Восход. 1887. № 9. С. 74.

В оценке индивидуальной манеры Минского (как ее достоинств, так и недостатков) Волынский выказал глубокое проникновение в его поэтический мир, а выстраивая линию «защиты», продемонстрировал вполне сложившийся взгляд на «старую» критику. В ответ на пасквиль Скабичевского он заявил: «У Минского, с точки зрения господствующих теперь общественных и литературных нравов, два крупных недостатка. Во-первых, он еврей, и, во-вторых, он серьезен. Быть евреем — это у нас теперь большое несчастье. Талант, ум, образование — ничто не извинит вам теперь вашего “происхождения”. Широкие гражданственные и нравственные понятия — это такой вздор, который современный, в особенности петербургский интеллигент презирает со всею возможной искренностью, от всей своей изношенной и выдохшейся души. Скандал, оперетка, легкая музыка трактирного органа, пошлая мазня газетных порнографов — вот чем собственно занимают теперь несчастного русского читателя. И вдруг среди этой серой публики газетных литературщиков появляется человек *еврейского происхождения*, с горячим словом, с умом, воспламененным более или менее возвышенными стремлениями, — как тут не завопить: ату его! Фраза! Караул! Вольтерьянство! <...> Как еврей, Минский — прежде всего индивидуалистичен, и это мешает ему уловить господствующий тон, ходячие тенденции, приспособиться к дирижирующим понятиям и взглядам. Толпа требует, чтобы поэты воспевали ее мимолетные интересы и желания, а Минский на все шаблонные запросы отвечает словами, полными высокого, философского разочарования. <...> По своему душевному и умственному развитию, Минский целою головой выше всей этой кишащей кругом литературной мелкоты, этих Андреевских, Апухтиных[35], ретиво и убежденно воспевающих цыганские нравы и шансонетную добродетель» и т. д.[36]

Гуревич также старалась поддержать Минского: «Не судите о мнении публики по словам Скабичевского: из публики всякий, достойный называться человеком, много перерос г<осподи>на “рецензента”. Нет, довольно о нем, его и его статьи надо предать забвенью, сейчас я изжарю его статью в печке, чтоб она никому не попадалась на глаза» (п. 20, 12 нояб. 1887 г.).

Взгляд Гуревич на стихи Минского со временем менялся: от некритического юношеского чтения «взахлеб» — к более отстраненному и неоднозначному («...удивляет меня: отчего так немногие из этого

[35] *Андреевский* Сергей Аркадьевич (1847—1918) — поэт, литературный критик; юрист по профессии, автор единственного поэтического сборника «Стихотворения» (СПб.: тип. А. С. Суворина, 1886; 2-е изд.: 1898); *Апухтин* Алексей Николаевич (1840—1893) — поэт, прозаик; в 1886 г. выпустил свой первый сборник («Стихотворения»).

[36] *Волынский А.* «Два слова о «жидовстве» в русской литературе»: Недельная хроника «Восхода». 1887. № 47. 22 нояб. С. 1189—1190. Высокую оценку поэтического творчества Минского Волынский повторил в рецензии на 2-е изд. книги: Живописное обозрение. 1888. № 35. С. 142—143.

отдела Ваших стихов так действительно сильны? Почему во многих из них вместо палящей жгучей жажды чувствуется только “унынье и бессилье”»? — п. 10, 21 окт. 1887 г.). Наиболее взвешенную оценку его поэзии она сформулировала в письме к Э. Мешингу 1898 г., когда в арсенале Минского было три поэтических сборника (третий вышел в 1896 г.): «Уже в тот период <1887> он выпустил книжку стихов, в которых были новые, тогда еще совсем чуждые русскому обществу мелодии. В них был философский полет, настоящая Sehnusucht[37] современного человека. За некоторые отдельные стихотворения в этом роде можно было простить ему риторику других стихов, холодность и рассудочность чисто лирических излияний. <...> Уже более 10 лет Минский совершенно порвал связь со своим радикальным и гражданским песнопением и открыто заявил это в одном стихотворении, которое навлекло на него бурю печатных попреков[38]. Во всех его произведениях светится очень тонкая умная мысль, тоска мысли, мечта мысли. В них мало непосредственного чувства и даже его “любовные” стихотворения нельзя назвать лирическими. Некоторые его поэмы, напр<имер> “Свет правды”, полны ярких красок и поэтических описаний, но суть — все-таки в его оригинальной, “мэонической” философии[39]. В мелких произведениях чувствуются, как у истинно-талантливого поэта, все особенности его натуры — этой уродливой натуры, дающей “не совсем обыкновенные плоды”. Безволие, чувственное утомление вместе с легкою возбудимостью, неспособность к каким-либо человечным глубоким привязанностям вместе с истинно-поэтическою свободою от всего буржуазного, огромное самолюбие вместе с сознанием своего уродства»[40].

Интеллектуальный заряд, полученный от дружбы с Минским и, главным образом, с Волынским, подтолкнул Гуревич, с юности мечтавшую о собственном журнале, к активным действиям. В 1890 г. по инициативе Волынского она вошла в группу пайщиков во главе

---

[37] Sehnusucht (*нем.*) — стремление, томление, тоска.

[38] Имеется в виду программное стихотворение Минского «Вакханкой молодой она ко мне вошла...», открывшее вторую книгу стихов (1887): поэт избирает из трех посетивших его Муз (Любовь, служение народу, жажда Истины) — третью. Стихотворение было воспринято демократической критикой (Н. К. Михайловским, Л. Е. Оболенским и др.) как отход автора от народнических идеалов; подробный обзор откликов см. в комм. С. В. Сапожкова: *БП*. С. 340—344.

[39] Опубликованные в «Северном вестнике» религиозно-философская драматическая поэма «Свет правды. Индийская легенда» (1892. № 12), поэмы «Город смерти» (1894. № 11), «Холодные слова. Рождественская фантазия» (1896. № 1), «У отшельника» (1896. № 2) продолжают линию так называемой мэонической поэзии Минского.

[40] Письмо Гуревич к Мешингу от мая 1898 г.: Русские Modernen — Зинаида Гиппиус и Николай Минский (из писем Любови Гуревич к Эдгару Мешингу). С. 117.

с Б. Б. Глинским[41], выкупивших у А. М. Евреиновой «Северный вестник» (5000 руб. на вступительный взнос ей дал отец), а через год, одолжив у дяди по матери Н. И. Ильина[42] 15 000 руб., выкупила доли других пайщиков и приобрела права на исключительное владение журналом, став его единоличной издательницей. «Северный вестник» Гуревич и Волынского (главного идеолога обновленного издания) открыл двери писателям-модернистам, не имевшим собственной площадки и подвергавшимся травле со стороны критиков «толстых» журналов и «Нового времени»; взял курс на знакомство читательской аудитории с новейшими течениями молодой русской и западноевропейской литературы (ближайший круг редакции составили Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус, З. Венгерова, Ф. Сологуб)[43].

Минский был одним из наиболее привечаемых сотрудников «Северного вестника», где гостеприимно печатали его стихи и переводы[44]. (Летом 1891 г., после почти двухлетнего перерыва, возобновилась его переписка с Гуревич.) В отличие от авторов, выражавших возмущение хронической невыплатой и задержкой гонораров, он не предъявлял к редакции претензий, поскольку был в курсе реального положения дела. Приобретая права на издание, неопытная Гуревич унаследовала все имевшиеся на журнале А. М. Евреиновой долги, преумноженные Глинским в короткий период его редакторства (1890—1891), которые выплатить ей было не под силу. «Северный вестник» издавался за счет внутренних ресурсов и денег подписчиков, займов и единовременных пожертвований.

Сочувствие Минского к делу единомышленников способствовало возобновлению товарищеских контактов. В мае 1895 г. по просьбе Гуревич он взял на себя обязанности литературного секретаря «Северного вестника».

---

[41] *Глинский Борис Борисович* (1860—1925) — журналист, публицист, мемуарист; товарищ Волынского по университету; «Северный вестник» был куплен в 1890 г. у А. М. Евреиновой тремя пайщиками (Глинским, Волынским и Гуревич), Глинский в 1890—1891 гг. — редактор «Северного вестника», в 1891 г. вышел из журнала вследствие несогласия с гегемонией Волынского в формировании редакционного «портфеля»; постоянный сотрудник журнала «Исторический вестник», с 1913 г. его редактор.

[42] *Ильин Николай Иванович* (1837—1907) — дядя Л. Я. Гуревич по матери, инженер-полковник, совладелец «Общества Московско-Рязанской железной дороги» — был человеком состоятельным, в 1890-х гг. приобрел усадьбу Быково у И. В. Воронцова-Дашкова; дядя философа И. А. Ильина, приходящегося Гуревич двоюродным братом.

[43] Подробно о переходном периоде (1891—1894) и борьбе Гуревич и Волынского за самоопределение и направление журнала см.: *Куприяновский П. В.* «Оглядываюсь на прошлое...»: журнал «Северный вестник» 1890-х годов и его литературная позиция. С. 36—41.

[44] См.: *Сапожков С. В.* 1) Библиография Н. М. Минского. Часть 1 (Литературный факт. 2019. № 1 (19). С 382—406); Части 2, 3 (Там же. 2021. № 2 (20). С. 333—370); 2) Поэзия и судьба Николая Минского // *БП*. С. 45—50.

Воссоединению предшествовал приезд Гуревич в Монте-Карло, где поэт лечился от туберкулеза (в письме от 25 янв. 1895 г. Венгерова доверительно просила ее: «...Вы говорили мне, что будете на Ривьере, в Ницце, и навестите Минского. Так вот, не смогли ли бы Вы также повидаться с врачом, который лечит его, и узнать от него истинное положение здоровья Николая Максимовича? Вы бы оказали этим большую услугу петербургским знакомым и друзьям Минского. Вы, быть может, знаете д-ра Эльсница[45] в Ницце. От него легче всего было бы узнать, так как он, кажется, видал Минского и к тому же имеет репутацию хорошего врача. <...> Жду от Вас несколько слов об этом»[46]).

Из Монте-Карло Гуревич совместно с Минским и присоединившейся к ним по пути З. Венгеровой предприняла поездку по Италии. Несомненно, она делилась с ними издательскими планами, обсуждала редакторский портфель и курс журнала (тогда же на несколько дней съездила в Париж к матери М. Башкирцевой и привезла переписку художницы с Мопассаном, которая была напечатана в ноябрьском номере «Северного вестника» за 1895 г.). Незадолго до возвращения в Россию, Минский писал Гуревич: «Продолжаю здесь изучать живопись 15 века, читаю о людях того времени и все с бóльшим изумлением открываю общие черты между тем временем и нашим. Вы себе представить не можете, насколько Вы и Аким Львович связаны с ренессансом. И мне кажется, что в этом залог Вашего близкого и большого успеха, в котором я ни на минуту не сомневаюсь» (п. 55; 7 мая 1895 г.).

Положение Минского в журнале было прочным, однако в период его секретарства в редакции произошел инцидент, повлиявший на его дальнейшие отношения с Гуревич; в переписке о происшествии не упоминается (разве что между строк: «скандалы остановили подписку» — п. 63; февраль 1896 г.). О причастности Минского к скандалу, спустя два года, она рассказала в письме к Мешингу: «Однажды случилось, что он по оплошности и неопытности сделал ошибку в литерат<урном> деле, ошибку, за которую сделался ответственным другой, не захотевший снять с себя ответственность и не назвавшей его имени. Он сам тоже сохранил молчание о своей вине. Мы не обменялись по этому поводу ни одним словом, но с тех пор он озлобился против меня и говорил обо мне совсем уж плохие и несправедливые вещи»[47].

---

[45] *Эльсниц Александр Леонтьевич* (*Людвигович*; 1849—1907) — революционер-шестидесятник; с 1871 г. в эмиграции в Швейцарии, примкнул к группе М. А. Бакунина; обучался на медицинском факультете Московского и затем Женевского университетов; впоследствии отошел от революционной деятельности; занимался медицинской практикой, сотрудничал в журналах «Дело», «Вестник Европы» и др.

[46] РО ИРЛИ, № 19841, л. 1.

[47] Русские Modernen — Зинаида Гиппиус и Николай Минский (из писем Любови Гуревич к Эдгару Мешингу). С. 118.

История, о которой идет речь, получила громкую огласку в литературных кругах, усугубив эпатажную репутацию «Северного вестника». 5 февр. 1896 г. в редакцию явился Н. Н. Шелгунов-младший (сын известного писателя)[48] и потребовал к ответу Волынского; получив отказ, он оскорбил Гуревич действием: плюнул ей в лицо. Поводом девиантного поступка послужила некорректная публикация в февральской книжке журнала «Воспоминаний» Н. А. Тучковой-Огаревой[49]: по редакционному недосмотру в ней были раскрыты имена, скрытые мемуаристкой за криптонимами.

Слухи о происшествии молниеносно разошлись по Петербургу. 16 февр. 1896 г. В. Г. Короленко сообщал жене: «В нашем литературном мирке — эпизод из скандальной хроники. В “Северном вестнике” напечатаны в феврале воспоминания Тучковой-Огаревой, и в них разоблачены любовные истории Шелгуновой. Шелгунова теперь жива, ее сыновья все это читают[50], вообще гадость необыкновенная. Один из этих сыновей явился в редакцию и спросил Флексера. Вышла m-lle Гуревич и сказала, что его нет, а она может ответить за него. Тогда Шелгунов плюнул ей в лицо! Конечно, напечатана гадость ужасная, но и этой бедной Гуревич досталось в чужом пиру похмелье <...>»[51].

---

[48] *Шелгунов Николай Николаевич* (1864—1909) — мичман Балтийского флота. В 1885—1886 гг. входил в кружок так называемых «милитаристов», выступавших с программой антитеррористической военной организации; в июне 1887 г. был арестован и приговорен к каторге на 8 лет, которая ввиду «чистосердечного раскаяния» была заменена службой солдатом в строю; в дальнейшем отошел от революционного движения. См.: *Селиванов В.* Моряки-народовольцы. 2-е изд. М.: изд-во Всес. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1931; *Брагинский М. А.* Из воспоминаний о военно-революционной организации (1884—86) // Народовольцы 80-х и 90-х годов: (сб. статей под ред. А. В. Якимовой-Диковской и др.). М.: изд-во Всес. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1929. Отец — *Шелгунов Николай Васильевич* (1824—1891) — известный публицист, писатель, участник революционно-демократического движения 1850—1860-х гг., сподвижник Чернышевского, Писарева, М. Михайлова; в 1861—1863 гг. находился в заключении в Петропавловской крепости.

[49] «Воспоминания» *Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой* (1829—1913) впервые были напечатаны в «Русской старине», главы I—IV: 1890. Кн. X; главы VII—XIV: 1894. Кн. IX, XI, XII. Главы X—XVII были напечатаны в «Северном вестнике» (1896. Кн. II, III, IV); глава «1871 год» в журнале «Печать и революция» (1925. Кн. V—VI). Первое отд. изд.: *Тучкова-Огарева Н. А.* Воспоминания, 1848—1870. М.: изд-во М. и С. Сабашниковых, 1903.

[50] *Шелгунова* (урожд. Михаэлис) *Людмила Петровна* (1832—1901) — переводчица, жена писателя Н. В. Шелгунова, автор книги «Из далекого прошлого» (СПб., 1901); у Шелгуновой было трое детей: Михаил (1861—1897) — сын М. Л. Михайлова, Николай — сын А. А. Серно-Соловьевича, Людмила (1870—1942) — дочь Н. В. Шелгунова, в замуж. Лукина.

[51] Литературное наследство. Т. 107: Журнал «Русское богатство» Н. К. Михайловского: из переписки членов редакции, авторов и современников, 1890—1903 / сост. М. Г. Петрова и М. В. Строганов. М.: ИМЛИ РАН, 2022. Кн. I: 1890—1899. С. 383.

17 февр. 1896 г. А. С. Суворин записал в дневнике: «В “Северном Вестнике” печатает Тучкова-Огарева свои воспоминания. В февральской книжке, стр. 87—89, она рассказывает о Ш. (Шелгуновой), которая бросила мужа, сошлась с С. С. (Серно-Соловьевич), от которого родила сына[52], и этого сына отправила к мужу, потом и С. С. посадила в дом умалишенных. Шелгунова названа буквою Ш., Серно-Соловьевич — С. С., но в выноске — полной фамилией, а потом и титле, стр. 88, тоже полной фамилией. Сама Шелгунова умна, сын ее тоже умен. Он пошел к Л. Я. Гуревич, резко объяснился с ней и плюнул ей в лицо»[53].

Чтобы пресечь пересуды и предотвратить дуэль (один из братьев Гуревич намеревался драться с Шелгуновым), она была вынуждена поместить в «Новом времени» «Письмо в редакцию»[54] с подробным рассказом о происшествии. Гуревич стоически выдержала удар, однако ее не переставали третировать, сводя счеты за направление журнала и статьи ее alter ego — А. Волынского (прежде всего, за серию очерков о журналистике и критике 60-х гг.[55], ударивших по догматическому утилитарному взгляду на литературу корифеев либерально-народнического лагеря). В архиве Гуревич сохранились адресованные ей письма с обвинениями, угрозами и оскорблениями, среди которых немало анонимных, а также (немногочисленные) в поддержку[56] — свидетельство общественной атмосферы 1890-х.

Волынский, весной 1896 г. совместно с Мережковскими совершавший поездку по городам Италии («за Леонардо да Винчи»), в письме к Гуревич советовал заменить Минского К. Льдовым[57]: «Он будет охра-

---

[52] *Серно-Соловьевич Александр Александрович* (1838—1869) — брат Николая Серно-Соловьевича, революционера и публициста, одного из организаторов общества «Земля и воля»; входил в руководство «Земли и воли», в 1862 г. был приговорен к вечному изгнанию и выслан в Европу. Н. Н. Шелгунов — сын Шелгуновой и А. Серно-Соловьевича.

[53] Дневник Алексея Сергеевича Суворина / текст. расшифровка Н. А. Роскиной; подг. текста Д. Рейфилда и О. Е. Макаровой. London: Garnett press; М.: Независимая газета, 1999. С. 205.

[54] Новое время. 1896. 2 марта. № 7187. С. 3; полный текст см.: *Павлова М.* «Этот пресловутый плевок в лицо...»: из истории журнала *Северный вестник*. Р. 128—133.

[55] Статьи Волынского по истории русской критики, печатавшиеся в «Северном вестнике» в 1893—1896 гг. (о В. Г. Белинском, Н. А. Добролюбове, Н. Г. Чернышевском, Д. И. Писареве, журналистике 1860-х гг., В. Майкове, А. Григорьеве, Н. К. Михайловском и др.), вошли в книгу Волынского «Русские критики» (СПб.: тип. М. Меркушева, бывш. Н. Лебедева, 1896). Аналитический очерк о книге см. в монографии Е. Д. Толстой: «Бедный рыцарь: Интеллектуальное странствие Акима Волынского» (с. 135—171).

[56] Подробно: *Павлова М.* «Этот пресловутый плевок в лицо...»: из истории журнала *Северный вестник*. Р. 128—133.

[57] *Константин Льдов* (наст. имя — Витольд-Константин Николаевич Розенблюм; 1862—1937) — поэт, прозаик, переводчик; товарищ и поклонник Л. Гуревич, с 1890 г. ближайший сотрудник «Северного вестника».

нять Вас, как верный пес, а при его давнишней и нелицемерной привязанности ко мне, можно будет без особенного труда извлечь из него для дела ту необходимую пользу, на которую он способен. Он не будет хитрить, издеваться, лгать направо, лгать налево и — при отсутствии <нрзб.> романтического пыла, лениво будет заглядывать в глаза приходящим дамам»; «Пусть Минский красуется на самой вышине "С<еверного> В<естника>", на его Парнасе, но для дела нам прежде всего нужны камни. Нам нужны *безмолвные* секретари, потому что дело наше слабо, шатко и дрожит, как больной нерв, при каждом грубом прикосновении»[58]. — В июне 1896 г. Льдов занял место литературного секретаря журнала.

Впоследствии в заметках и статьях о «Северном вестнике» Гуревич не раз акцентировала значение в ее биографии как событий 1887—1888 гг., так и 1890-х, но по понятным причинам не касалась интимных переживаний, в том числе связанных с причастностью Минского к скандалу в редакции. «Много раз, в разные периоды, мы сходились с ним, как друзья, — поверяла она Мешингу. — В сущности, я к нему очень привязана, очень ценю его особенный ум, немножко злой и язвительный, и вместе с тем, — философски-мечтательный. Это человек, с которым никогда не скучно. Временами мы делались с ним даже очень близки — т. е., он изливал мне всю душу, говоря мне, что я остаюсь для него полной "загадкой", несмотря на простоту и удобопонятность всего, что я говорю»[59].

С прекращением журнала переписка Гуревич и Минского постепенно сошла на нет; однако, судя по позднейшему письму Минского (1913 г.), замыкающему публикуемый эпистолярный корпус, они сохранили товарищеские отношения.

Тексты печатаются по автографам, письма Л. Я. Гуревич к Н. М. Минскому: РО ИРЛИ, ф. 39, оп. 1, ед. хр. 214; письма Н. М. Минского к Л. Я. Гуревич 1891—1901 гг.: РО ИРЛИ, № 20003; письма 1887—1889 гг.: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153 (о локализации писем Минского сообщается в притекстовых примечаниях). Бóльшая часть писем сохранилась вместе с конвертами; сведения о конверте сообщаются в примечаниях только в случае смены адреса корреспондента или имеющейся на нем маргиналии. Зачеркнутый текст заключен в прямые скобки. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современной грамматической нормой, за исключением отдельных особенностей пунктуации (в ряде случаев сохраняется авторская расстановка знаков препинания, четыре точки вместо трех в конце предложения) и отдельных устаревших форм словоупотребления, характерных для языка эпохи.

[58] РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 105, л. 80—80 об.

[59] Русские Modernen — Зинаида Гиппиус и Николай Минский (из писем Любови Гуревич к Эдгару Мешингу). С. 118.

ПЕРЕПИСКА Л. Я. ГУРЕВИЧ С Н. М. МИНСКИМ

1. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

29 сен<тября> <18>87 г.

Многоуважаемая Государыня Любовь Яковлевна,

Г. Флексер сообщил мне, что Вы намерены переделать статью о Б<ашкирцевой>[1]. Если так, я бы Вам посоветовал, не ожидая ответа редакции, завтра же (редакционный день) зайти туда и взять рукопись для исправления, согласно его, редактора указаниям[2]. Это очень важно.

Мне бы хотелось Вас повидать, но днем недосужно. Когда Вас можно видеть вечером?

Н. Виленкин

Адрес: Караванная, 6. Николаю Максимовичу Виленкину

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 28.

[1] См. прим. 9 к вступ. статье. Волынский писал Гуревич: «Многоуважаемая Любовь Яковлевна, / Вам вернули статью из редакции “Вестн<ика> Евр<опы>” — это мне известно. Хотелось бы думать, что эта маленькая неудача Вас нисколько не опечалит. Говорю с наивным убеждением, что самые недостатки Вашей статьи не только ничего не говорят против Ваших литературных способностей, но даже освещают их с самой выгодной стороны. Не нужно обладать особенною ответственностью, чтобы в Вашей статье разглядеть свежие, юные побеги литературного дарования — правда, еще не дисциплинированного, но несомненного. / Вы, вероятно, пожелаете отдать Вашу работу в “Сев<ерный> Вест<ник>” — и вот, пользуясь Вашей любезностью, я хотел бы предложить Вам некоторые изменения и поправки, без которых ей будет угрожать неизбежная опасность. Я бы с большим наслаждением прошелся пером по Вашей статье, или участвовал вместе с Вами в обработке и переделке некоторых ее частей. Вы слишком горячо относитесь к Башкирцевой? и это, думается мне, не дает Вам того спокойствия, которое необходимо при всякой корректурной работе. Если Вы согласны, то я всегда готов к Вашим услугам. / Получили ли Вы мое письмо? / С полным уважением А. Флексер» (РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 104, л. 75).

[2] Имеется в виду литературно-художественный журнал «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича, в котором Н. Минский активно сотрудничал в 1880-е гг. (печатался с 1877 г.). В очерке «Милые воспоминания» Гуревич вспоминала: «В 20 лет я написала свою первую статью о Башкирцевой, отнесла ее в “Вестн<ик> Евр<опы>”, — мне отказали, хотя я и теперь считаю, что это было несправедливо. Редакция этого журнала, канцелярский, формальный тон разговора возмутили мою душу. Потом я напечатала статью в другом журнале, менее “почтенном” и притом — не без содействия папы» (*Павлова М. М.* Из воспоминаний Л. Я. Гуревич о журнале «Северный вестник». Статья вторая. С. 117).

2. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

2-го октября 1887
С. Петербург

Вместо того, чтоб писать дневник по обыкновению, я пишу Вам — так, по какому-то непосредственному чувству, хотя я знаю, что это вовсе не умно с моей стороны, и не тактично, и не «принято». Но до этого — какое дело! Это так редко в жизни — стать лицом к лицу с *ч<е>л<ове>ком*, а не с ходячим ярлыком, сразу, с немногих слов, минуя скорлупу, созданную жизнью на каждом человеке, подойти к самой сущности личности, это так редко, и так хорошо, такой широкой волной врывается жизнь и силы в душу! Я не умею, да и не хочу мириться с условными формами человеческих отношений, мне душно в них! И мне так бесконечно хорошо, когда кто-нибудь относится ко мне.... *так*, *как я сама отношусь к себе*, т. е. так, как Вы относитесь ко мне: с живой любознательностью, с *недоумением*, почти со страхом. Вы представляете себе, что *к себе* можно относиться таким образом?.. Разберите меня, сделайте мне характеристику, если можете, Вы, сразу увидевший в нескольких десятках страниц, мной написанных, этого громадного сфинкса, пугающего минутами меня самою! Когда Вы говорили сегодня, у меня кровь застыла в жилах: так еще никто не говорил обо мне, кроме меня самой, на страницах моего дневника. Быть может, объективный взгляд поймет меня лучше, чем я сама понимаю себя, п<отому> ч<то> я, судя себя, утопаю в океане деталей, мечусь в хаосе крутящихся вихрей ощущений, присущих мне, как известному темпераменту, как данному члену общества, как ребенку — минутами, как много пережившей женщине в то же время... Я живу объективно и субъективно, я живу непосредственно, когда я с людьми, а когда я одна — со дна души моей глядит пугающий меня сфинкс, и мне кажется, что я или умру, или сойду с ума, или — или...? Кто скажет? Мне *страшно*, п<отому> ч<то> я *хочу* жить и сделать эту гложущую меня силу деятельной силой. Она необъятно велика эта сила; она поднимает меня и уносит, по временам — целыми днями, в те сферы, откуда я роняю совершенно готовым прошлогоднего Гамлета[1] или ту страницу, о которой Вы говорили сегодня. С этих вершин расстилаются необъятные горизонты, их не передать в слове, ни даже в музыке. И минутами мне узко в своей человеческой скорлупке, называемой человеческим темпераментом, и мне хочется тогда умереть, и мне кажется, что я действительно умру. Но ведь не одна эта область громадных запросов ч<е>л<овечес>кого духа заставляет напрягать мой мозг почти до боли: я с 17-ти лет строю, строю, строю без конца разные... мировые теории, иногда, потом уже, состроив, я находила их у других, у тех, кому мир возложил венок бессмертия за эти самые теории... Есть и такие теории, которые я потом нигде не встречала, а они так велики; одному-двум из близких друзей, которые не могли ничего

сказать мне в ответ; а потом — я хранила и храню их в глубине души, не говоря никому, потому что никого не считаю достойным *критиковать* их. И все эти постройки, в которые легла половина моей души, — все это — синтезы, которые я *ничем* не могу проверить. И стремление жить для людей и отдать себя людям, я в тоже время прячу от них эту существеннейшую часть своей души... Запросы вечно толпятся в голове моей, такие, на кот<орые> я уже сама не могу ответить, да, вот запросы, о кот<орых> я говорю на этой странице, кот<орые> Вы заметили; это и старое и вечно новое, вечно жгучее... Я что-то чувствую, что-то *предчувствую*, и это такая мука, что мне кажется тогда — я кончу сумасшествием... И мне страшно, п<отому> ч<то> я хочу *жить*. И я живу, живу не за облаками, о нет, для меня со всех сторон жизни звучат голоса, манящие к себе, со всех сторон жизни глядят живые образы, *души* человеческие... Я падаю с неба, на все у меня меняется масштаб; душа человеческая — для меня целый микрокосм, вызывающий бурю запросов *с смутным предчувствием ответа*! И все вопросы, касающиеся человеческой души, так захватывают меня, так близки, так дороги мне, что я готова отдать жизнь свою исследованию этой области вопросов. И если я буду жить, я *убеждена*, что дам в этой области что-нибудь новое, свое и... крупное. Оттого я и еду к Вундту[2]. Мне ясен мой путь в этой области, я последовательница Конта во всем, что касается знания[3], и я буду *работать*, о, я готова работать, работать, работать без конца, терпеливо, настойчиво, упорно, затаив дыханье, чтоб *доказать*, что я для себя сознаю и чувствую. О, какое торжество!... И я радостно иду по этому пути, недавно еще открыв его, начав с азов, с анатомии — п<отому> ч<то> хочу знать *человека*. Мой предмет — психология, но.... ну, да это понятно. Оттого я и сказала Вам, что пойду путем *науки*. Но все это только часть меня, одна *грань*, видная и для тех, кто не глядит глубже. Есть еще та сторона, о кот<орой> я говорила: образ, люди живые, встающие со дна души, и рассказывающие мне всю свою внутреннюю историю так правдиво, так тонко, так убедительно. Они взяты из самой обыкновенной, русской жизни; я смотрю на них, и мне самой так странно: неужели это я создала их, я, полжизни носящаяся в других высших сферах громадного масштаба, такого масштаба, что люди кажутся какими-то инфузориями, и вся жизнь человеческая — плесенью земной коры! И я так люблю этих инфузорий, что каждая мелочь их жизни интересна и полна значения в моих глазах. Когда я говорю с человеком, кот<орого> еще не знаю, я рассказываю себе его историю и его будущее; когда я слежу за какой-ниб<удь> жизненной драмой, я предчувствую ее исход, часто тогда, когда она еще только начинается. Я записываю то, что думаю, и так часто сбывается мое предсказание, что мне страшно минутами... Доктор, лечивший меня и несколько раз говоривший со мной, сказал: «Вы — *ясновидящая* натура...» И часто я повторяю эти слова... Уверяю

Вас, что все это не фантазия моя, а факты: документ у меня под руками: мой дневник.

С раннего детства я ищу своего призванья, ищу, ищу, ищу — это мука! Если б я была здоровой и надеялась бы прожить 85 лет, все уладилось бы к<а>к нельзя лучше. Но было бы глупо ожидать этого блага от судьбы, — я не из таких: Гете мог быть и ученым, и художником, п<отому> ч<то> жил так долго, а жил так долго, п<отому> ч<то> все же умел закрывать глаза на некоторые стороны жизни: вспомните его состояние духа во время революции[4]. А меня самою потянуло б на баррикады; я м<ожет> б<ыть> не позволила бы себе этого шага, но сердце мое билось бы так учащенно, что один этот период отнял бы у меня много лет жизни. Что же мне делать? Боже мой, что же мне с собой делать?.. Вы сказали мне сегодня: кем я буду? А я спрашиваю это у Вас. М<ожет> б<ыть> Вам это все же яснее, чем мне... И однако, когда я задавала этот вопрос людям, близко знавшим меня, и мне отвечали: «будь писательницей — художницей», — я отвечала: «как можно так не понимать меня: ведь это же так мало! А то, лучшее, высшее творчество, это предчувствие вещей, которые *будут открыты* через десятки или сотни лет!... Разве я могу жить только на земле, с маленькими инфузориями людьми!... Какое будущее!» У меня и теперь есть несколько гипотез, доказав которые я перевернула бы все научное мировоззрение нашего времени; и уверяю Вас: я знаю пути, которые ведут к их доказательству. Я едва вступила в область психологии, и уже столько вещей в этой области уясняется для меня, вещей, опрокидывающих прежние теории. Я обращалась к нашим русским профессорам, они говорят: «мы не знаем! Вы к<ак> будто правы, а доказать мы не можем ни старого, ни того, что говорите Вы». — Это факты. Мне нужен эксперимент, мне его здесь не хватает; я еду за границу... Кем же я буду? — спрашиваю я. Мне говорят: «Ученым психологом, б<ыть> м<ожет>». А я отвечаю: о, помилуйте! А этот мир образов, шевелящихся в моей душе, — неужели он умрет вместе со мною? Какое безумие!.. Да эти образы будут мучить меня, будут вечно преследовать меня как Эринии, мешая мне работать в той избранной области!..» Никогда одна наука не удовлетворит меня — никогда, никогда! Как же быть, если *нравственно невозможно выбрать и физически нельзя совместить, п<отому> ч<то> жизнь коротка* и п<отому> ч<то>, раздвояясь на две деятельности (из кот<орых> каждая напоминает жизнь великих людей), — я уже в каждой из них являюсь только половиной самой себя. И чтобы я себе ни представляла в будущем, все самое великое и блестящее из всего, что создает мое воображение, все это не удовлетворяет меня, ничто, ничто не удовлетворяет, и меня мучит тоска. Когда я молодо, поверхностно настроена, я так радостно смотрю в будущее, даже не смотрю (я ничего определенного там не вижу), а простираю к нему руки, и... мне кажется, что я к нему приближаюсь. Этот внутренний голос, зовущий меня, он, как каза-

лось бы, не может обмануть меня. И я *поступала* всегда как ч<е>л<о-ве>к, имеющий *определенную* цель впереди. Если бы кто-нибудь знал, к<ак> много, невыразимо много личного я принесла на алтарь этого будущего, отрекаясь от всего, что могло бы когда-нибудь стиснуть мой полет к нему. Но я говорила себе:

Какое дело до себя
И до других, и до вселенной
Тому, кто следовал, любя,
Куда звал голос сокровенный...[5]

Я прижимала сердце рукой, чтоб оно не билось, и работала... для будущего. И сказать, что, в сущности, я его себе не представляю!.. Мысль, что я могла бы промчаться, к<ак> никому не нужный, хотя сверкающий метеор, заставляет кровь мою застывать в жилах. Любить людей, к<ак> я их люблю (о, это не фраза, вы поверите *мне*, я не могу доказывать!) — и промчаться в своей жизни бесцельно, бессмысленно, бесполезно... Потому что кому нужны в наш век мои синтезы! Они могут откликнуться эхом в душах родственных мне от природы, но к чему это! К этому ли зовет меня «голос сокровенный»... Это не значит, что я опускаю руки и, не будучи в состоянии сделать все, что могу, не делаю ничего. За целые годы дневника, м<ожет> б<ыть> найдется одна-две такие страницы, как это письмо, таких отчаянных страниц. Но когда Вы вчера стали говорить то, что я сама едва решилась ясно выразить, и я почувствовала всю *ужасную* правду Ваших слов, я застывала, трепетала, в глазах у меня темнело и.... я чувствовала в себе в то же время... силу безмерно-великую... Я знаю только одно: чем бы, как бы это все ни разрешилось, чем бы я ни была, я буду только одной сотой того, чем я *бы могла быть*, я была бы уже *не человеком*. Это страшная трагедия, которой нет имени на языке человеческом, и у которой нет благоприятной развязки. И я сознаю это, уже давно.

Во мне еще очень много *недостойного меня*, очень много балласта, загромождающего пути, ведущие из бездн моего духа на свет божий, пути, по которым должны же когда-нибудь выйти в мир, для людей, истины, хранящиеся теперь во мраке моей души. Люди, говорящие обо мне, как говорите Вы, разбирающиеся в том, что я пишу, и указывающие мне дорогу ко всеобщему вниманию — делают для меня так много, что всякие слова благодарности будут бледны и бесцветны. Я могу *написать* очень много *слабого*, безусловно слабого: я еще *не умею* писать; когда я пишу, не один дух, творческий дух, работает во мне, но и другие стороны, не приспособившиеся вполне слушаться своего внутреннего повелителя духа, воображенье, рассудок, язык... Вы это поняли, и я Бог знает, как дорожу Вашей помощью...

P. S. Значит, я написала это письмо? Даже откинув мелочную деликатность, говорящую о том, что чтение письма отнимет у Вас много

времени и т. п., — даже забыв об этом, я не вполне отдаю себе отчет в побуждении, руководившим мною. М<ожет> б<ыть>, потому что у нас нашелся общий интерес: *я*, как *явление, с психологической точки зрения*? Потому что Вы сказали вчера то, что говорю я к<а>к темперамент, как человек о своем *внутреннем* «я» к<а>к творческом духе. Я писала, писала без конца, нескладно, ни о чем другом не заботясь, кроме того, чтобы дать Вам хоть некоторый *материал* для сужденья об этом сфинксе.

Думая об этом письме, теперь более объективно, я чуть-чуть колеблюсь послать его: какой смысл?..

Но, все равно, пошлю. Вы — поэт: Вам не может не быть интересным все, что касается *человека*, а человек, не похожий на других, должен представлять для Вас безусловный очень большой интерес. Я заключила это из того, что Вы вчера говорили.

Еще одно слово: Вы подумали, читая мою первую записку к Флексеру, где я просила Вас не говорить m-me Д<авыдовой>[6] и т. д., — уж не психопатка ли я, воображающая подслушиванье, и прочее. К<а>к я Вам уже сказ<ала> вчера — я гов<орила> об этом с чисто практич<еской> точки зрения, кот<орая> Вам понятна. Если же Вы хотите знать, к<а>к я объясняю то, что меня с 14 лет преследуют людские толки, — извольте, я скажу свое мнение соверш<енно> прямо: я объясняю это тем, что люди чувствуют во мне нечто необыкновенное и это тревожит их буржуазное спокойствие; они сердятся и клевещут. Это старая, вечно новая история! И — уверяю Вас, что я не психопатка! Разве в глазах Стасюлевича!..[7]

Л. Гуревич

Конверт:
Здесь
Его Высокоблагородию
Николаю Максимовичу
Виленкину
Караванная, дом № 6.

[1] Имеется в виду реферат Л. Гуревич о «Гамлете» У. Шекспира, который она читала в кружке молодых литераторов, собиравшемся в салоне А. А. Давыдовой. См. об этом: *Гуревич Л.* История «Северного Вестника» // Русская литература XX века, 1890—1910 / под ред. проф. С. А. Венгерова. С. 238.

[2] *Вундт Вильгельм Максимилиан* (Wilhelm Maximilian Wundt; 1832—1920) — немецкий врач, физиолог, психолог, лингвист; основатель экспериментальной психологии; профессор Лейпцигского университета, в котором основал психологическую лабораторию, впоследствии преобразованную в Институт экспериментальной психологии.

[3] *Конт Огюст* (полное имя: Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; 1798—1857) — французский социолог и философ, основоположник позитивизма и социологии как самостоятельной науки; создатель системы «положительной филосо-

фии», основанной на фактическом материале позитивных наук (математики, физики, астрономии, химии, биологии и социологии), изложенной им в шеститомном труде «Курс позитивной философии» (1842).

[4] Имеется в виду не сочувственное отношение И. В. Гёте к Французской революции 1789 г. Л. Гуревич посещала лекции П. И. Вейнберга, редактора первого на русском языке собрания сочинений Гёте ([в 6 т.]: СПб., 1865—1871; 1875—1876; с 1887 г. он преподавал на кафедре всеобщей истории литературы в С.-Петербургском университете, одновременно был директором Реального училища Я. Г. Гуревича.

[5] Цитата из поэмы Н. Минского «Гефсиманская ночь» (1884); поэма была запрещена к печати Комитетом духовной цензуры и ходила в бесчисленных списках, впервые под заглавием «Искушение» опубл.: Пушкинский сборник. СПб., 1899.

[6] См. прим. 15 к вступ. статье.

[7] *Стасюлевич Михаил Матвеевич* (1826—1911) — историк, публицист, в 1866—1908 гг. редактор журнала «Вестник Европы».

3. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

30-го сент<ября> 1887.
С. Петербург, Надеждинская 34, 7.

Милостивый Государь
Николай Максимович,

Искренно благодарю Вас за совет, которому *сию же минуту* последую. Буду *очень* рада Вас видеть в один из следующих вечеров: сегодня в среду, в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник.... — когда Вам будет удобнее.

Еще раз благодарю Вас за *все*[1].

Л. Гуревич

[1] Слова, выделенные курсивом, подчеркнуты карандашом, вероятно, Минским; слова «очень» и «все» подчеркнуты три раза.

4. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

2 октября 1887 г.
С. Петербург; Надеждинская, 34, 7.

Многоуважаемый Николай Максимович,

Простите мне крайнюю неделикатность, с которой я злоупотребляю Вашим любезным предложеньем лично поговорить со мной. Я *очень* дорожу Вашим участием к этому делу и буду глубоко благодарна Вам за искреннюю и строгую критику моей работы: это очень помогло бы мне в переделке ее для Северного Вестника[1]. Я *чувствую* многие свои промахи и несовершенства, и м<ожет> б<ыть> через месяц дошла бы до отчетливого сознания их, но дело не терпит отлага-

тельства, и я жажду всякого ясного и резкого сужденья людей, умеющих в то же время оценить поэзию и глубину моей героини. Мое убеждение в силе ее значения для современной молодежи (я сужу не только по себе: ведь мне приходится видеть много молодежи, и я не могу не говорить везде о Б<ашкирцевой>, и не видеть произведенного впечатления), мое убеждение в ее общественном значении и дает мне смелость надоедать Вам своими письмами. На этот раз, дело в том, что я, глубоко дорожа *Вашим* сужденьем, желаю оградить время нашего разговора от всяких помех, от которых трудно обеспечить себя, не зная более точно дня и часа Вашего прихода. Если бы Вы могли уделить мне часок *в субботу, завтра, после 8½ ч.* (до 8½ у меня обязательные занятия), *или в любой час в воскресенье*, это было бы самое лучшее. Если письмо мое застанет Вас дома, Вы, может быть, не откажетесь дать мне указание на время Вашего прихода. Еще раз прошу извиненья за свою неделикатность, но право, мотив ее — желанье воспользоваться Вашими советами вполне беспрепятственно.

Искренно благодарная Вам
Л. Гуревич

---

[1] Имеется в виду статья Л. Гуревич о М. Башкирцевой, см. прим. к п. 1.

5. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

3 октября <18>87 г.

Право, не знаю, зачем я Вам сажусь писать. Мне нечего сказать Вам, но хочется говорить с Вами. Если ничего не будете иметь против подобной болтовни, стану Вам писать, когда вздумается. Следует назначить день в неделю, т. е. вечер, когда мы собираемся втроем, — таким образом наш кружок создастся незаметно для нас самих. Только вот что. Когда начнутся занятия кружка, — не будут ли нам мешать у Вас? Между тем, собираться не у Вас, кажется, неудобно. Как быть? Мы вчера с Ф<лексером> думали и ни до чего не додумались. Решите Вы. Но собираться можно только раз в неделю, а между тем без Вас и Вашего разговора жизнь как-то тускла. Может быть, я вскоре изменюсь, но пока это так. Мое сердце тянется к Вам, как к чудному источнику света, и мне стыдно говорить это и так приятно чувствовать этот стыд. Судьба послала мне Ф<лексера> и Вас, когда я наглухо застывал в своей раковине, в полной уверенности, что померкло для меня солнце любви и месяц дружбы. Нет, не померкло! Оно опять горит, и я отогреваю свою холодную, озябшую, озлобленную душу. Даже не понимаю, как бы я теперь мог жить без Ф<лексера> и Вас. С Ф<лексером> я вижусь часто, почти ежедневно, с Вами так часто видеться нельзя. Поэтому пишите мне, о чем хотите: о своих друзьях, о том, что, к со-

жалению, есть и о том, чего, к сожалению, нет. Вы говорите, что посещаете концерты. Как бы устроить так, чтоб вместе посещать их? Хотя, кажется, Вы, слушая музыку, забиваетесь за колонну и прячетесь от людей.

Ах, да! Забыл Вам о Вашем письме говорить, которое Вы мне дали с собою вчера вечером. Мне больно, что я Вас заставил страдать. Но что делать? Чтобы услышать звук колокола, надо сильно в него ударить. И в Вашу душу я несколько раз сильно ударил, и всякий раз она отзывалась звуками, все более чистыми и глубокими. Есть и на Вас, и на Ф<лексере> темные пятна (обо мне и говорить нечего!). У Вас, в сущности, одно пятно, но говорить о нем я не хочу, а то опять меня обругаете педагогом. Кстати, никогда не терзайте меня, как Вы это делали вчера вечером, горькими словами, в роде <?> «бездны, вдруг образовавшейся», или «педагогом, становящимся на цыпочки». Я не хочу, чтоб Вы были несправедливы даже шутя — вот разглагольствовали! Принесли старый листок бумаги. Так и быть!

Итак, не будьте никогда несправедливы ко мне и знайте, что всякое жестокое слово бьет меня по сердцу. А я хочу счастия доверия и доброты. Во всем, что Вы вчера говорили, верно одно: что я не в состоянии дать положительного содержания Вашей жизни. Не могу, по правде сказать, да и не хочу. Ваш пустой сосуд, куда бы я мог перелить свою мудрость, будь она у меня. Вы — такое растение, связанное глубокими корнями с природой и людьми. Эти корни пусть и питают Вас. Я могу только дружбой и любовью сочувствовать Вам, как и Вы можете это сделать со мною. Более бессилен сделать человек с человеком. Так что не может быть речи ни о педагоге, ни об ученице. — Довольно пока. — Пишите.

Не смешно ли: я прошу Вас писать, я — негодовавший на Ваши длинные письма!

Читали ли фельетон Ф<лексера>?[1] Пришлите его и свое мнение.

Господи, как было бы хорошо, если бы возможно было видеться с Вами ежедневно!

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 23.

[1] Речь идет о статье А. Волынского «Библия в русской поэзии. Этюд второй» (Восход. 1887. № 9. С. 66—94), в которой на основе анализа поэм Н. Минского «Вавилонское столпотворение» и «Прокаженный» дана общая характеристика его поэтической манеры: «Принадлежа значительнейшими своими вдохновениями лучшим тенденциям той общественной и интеллектуальной полосы, которая в поэтической литературе ведет свое начало от Некрасова, Минский, в то же время, по природе своей не свободен от некоторого гражданского скептицизма, который, пробиваясь в поэтические настроения, нередко белым швом выглядывает из его литературных работ. По своему развитию и душевным задаткам Минский, без сомнения, способен на более или менее значительные философские и нравственные увлечения, его природный ум первый подмечает суету и фальшь многих текущих

тревог и порываний, но... но природа, в своей жестокой и глупой безрассудности, не снабдила поэтического орла достаточно крепкими и сильными крыльями. При всей своей сравнительно большой образованности и заметной остроте "духовного зрения", Минский в своих *творениях* очень редко сходит с почвы текущей действительности, очень редко идет дальше зыбкой и изменчивой рефлексии поверхностной интеллигентной души. Эта-то двойственная природа поэта, при внимательном изучении, отчетливо выступает из лучших его художественных произведений, в которых почти всегда истинно-патетическое течение идей перемежается с холодной риторикой. <...> Так или иначе, мы констатируем тот факт, что Минский всеми лучшими сторонами своего большого, сильного дарования принадлежит настоящему» (с. 72—73).

6. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

5 октября 1887.
С. Петербург
Надеждинская, 34

Я не могла придти, п<отому> ч<то> ждала Флексера, которому назначила этот вечер, к<а>к время, когда я всегда дома. А мне хотелось немедленно ответить на Ваше письмо, ответить вот что: зачем Вы говорите, что я считаю себя «исключительной натурой»? Что значит — исключительная натура? *Я никогда* не думала, что я — *единственная* в своем роде. Что такие бывают, я нисколько не сомневаюсь, я даже сама знаю таких людей, одного из них, и Вы знаете или знали. Только он — неудачник... Я Вам сама говорила, что и я из тех, которые при не особ<енно> благоприятных условиях делаются неудачниками; я знаю себе место с этой, жизненной, обыденной точки зрения. Но для себя я не допускаю такого исхода; для меня только два исхода — смерть или... что-нибудь замечательное. Я только с ужасом повторяла вопрос своего ума, головы: что же, что же это именно? Что выходит из этого *типа* людей, если кроме этого духовного склада, позволяющего при известных условиях озирать великие горизонты, в них есть и другие душевные элементы, способствующие выработке из них чего-нибудь *определенного*. Какие это элементы?.. (В сторону последнюю скромность): страстное отвращение от грубой, материальной стороны жизни и любовь к людям, много раз проверенная на деле, безмерная любовь к людям... И потом — вот страница из моего дневника прошлого года: (начало — односторонне, т. е. писано *по поводу* и касается одной стороны моих размышлений о будущем).

«16 ноября 1886 г.

Я хочу показать людям, что можно жить не для себя, что безупречно — чистое существование и стремление к одной излюбленной светлой цели, что самое суровое и спокойное самоотвержение *возможны*, что Евангелие — не Толстовское[1], а мое, к<а>к я его понимаю, приложимо к жизни. Я хочу быть для людей тем, чего, кого недостает мне

в жизни. Да простит мне Бог мои гордые намерения! Эта гордость будет искупаться невыносимой скорбью каждой минуты моего существования...

«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир» — гов<орит> Христос...[2] Да, я не признаю, что нужно быть о себе низкого мнения, п<отому> ч<то> чем выше, чем заносчивее требования, предъявляемые своему будущему, своей жизни, тем больше требовательность и строгость к себе во всякую данную минуту. Требования моего будущего — громадны. Я хочу *жить* и хочу показать людям, что может сделать ч<е>л<ове>к, ставящий себе большие требования. Я страстно хочу жить и показать, что люди, не мирящиеся с обыкновенной участью, все же созданы для жизни. Мои планы громадны, нет, больше — они необъятны, они не вместимы ни в какую жизнь... Я хочу будить людей и звать их на дело, я ищу помощников, я ищу солдат и офицеров.....

....Вчера, читая Милля[3], я отнесла к себе следующие его слова: «Нервные темпераменты тем именно и характеризуются, что могут сообщать способность к хроническому возбуждению, которое удерживается рядом продолжительных усилий. Это-то и называется *восторженным мужеством*. Из таких людей выходят великие ораторы, пропагандисты, *восторженные провозвестники новых эпох*»[4].

И потом:

«Сильное чувство служит орудием к сильному самообузданию, но оно должно быть воспитано в этом направлении. В этом случае оно образует не только героев импульса, но также укротителей самих себя. Опыт и история показывают, что самые страстные характеры относились с наибольшей *фантастической суровостью* к чувству долга, если их страстная натура была приучена к этому самоподавлению...»[5].

Вместо чувства «долга» я поставила б для себя, в своем миросозерцании «категорический императив» Канта; но не в этом дело... Я *знаю* (не только верю), знаю по опыту, что этот мой внутренний голос оказывался всегда сильнее всего; мне не нужно *счастья*; я помню себя маленькой девочкой, говорящей перед самой собой: «я не хочу счастья! Счастье всегда узко и сладко, я хочу *величия*?..»

Счастье для многих было *искушением*, многие соблазнились его обманчивым призраком; я — *никогда* в него не верила, а когда настало мое искушение; самое большое искушение, какое могло бы предстать мне, я сбросила его со своего пути, и оно на моих глазах разбилось в мелкие дребезги.... Тогда — для меня больше не осталось сомнений в себе.... И б<ыть> м<ожет> это моя сила, лишнее данное, позволяющее выделять меня из общего уровня людей того типа, к которому Вы и я сама причислили меня. Во мне теперь еще два существа: я к<а>к темперамент, еще не достойна своего другого, внутреннего «я», творческого духа. Я думаю, что те люди, одного со мной типа, гибли так часто именно оттого, что не умели возвысить своего темперамента, не

умели обуздать его, избичевать, укротить его, повернуть его на служение внутреннему «я», сделать его только его покорной оболочкой, только проводником и исполнителем его замыслов... Быть может те люди, мне подобные, гибли именно потому, что не умели освободить своего... своего дарования (но это не совсем то — дарование, я не нахожу слова сильнее и правдивее, а оно есть) из рабства безобразных чудовищ, составляющих темперамент, мелких, грязных, отвратительных, но часто могучих чудовищ? И дух их томился, как прикованный Прометей, под властью мелочного гадкого тирана Зевса — томился даже без надежды на будущее, п<отому> ч<то> Прометей был бессмертен, а люди!.. И быть может, я легче освобожу своего Прометея именно потому, что я женщина? И тогда?... Вот я и спрашивала вчера, *что* тогда?

Вы говорите: «я хотел бы поглубже заглянуть в Вашу душу». Я не знаю, что для этого делают. Я пишу Вам, к<а>к видите, много, искренно, непосредственно. Я теперь знаю, почему я пишу: потому что мне почувствовался в Вас тогда помощник, союзник, друг — если это не слишком сильно сказано, — словом, человек, кот<орый> может помочь мне расчистить пути для Прометея с *технической* стороны... Кажется, впрочем, я Вам это уже писала. Когда я писала третьего дня, — то были *стоны и муки* Прометея, скованного цепями реальности, и даже не умеющего прозреть своего будущего. Сегодня — *не знаю почему* (ведь будущее также застлано туманом, и никакая знакомая мне форма деятельности и таланта не является в моих глазах достойным субстратом для моего Прометея!) — но сегодня — это не стоны, о нет! Это радостный мощный крик его при одном сознании, что Зевс не вечен, и это он переживет и след<овательно> восторжествует над ним...

Я знаю, к<а>к мне много труда во всех отношениях, но разве я когда-нибудь боялась труда? Никогда!.. Но мне нужны союзники, п<отому> ч<то> жизнь коротка и надо работать над собой *скорее* и *многостороннее*. Я не всякого (о — таких слишком мало!) могу назвать своим союзником, только того... того, кто *не испугается* тона этих моих писем и поймет, что всякая скромность в моих устах — была бы только недостойным лицемерием. Я знаю один необходимый вид скромности: это та душевная деликатность, кот<орая> не позволяет показывать *себя* людям очень «маленьким», чтоб не подавить их нравственного достоинства. *Эту* скромность я признаю, но потому-то так ужасно мало людей, которым я говорила бы, не прикрывая, хоть отчасти, лица своего покрывалом... Таких людей до того мало, что даже странно! И я говорю так *Вам*, на основании некоторых Ваших фраз в последнем разговоре. Вас не поражает неприятно этот тон моих писем?... —

Если Вы желаете ближе подойти ко мне и узнать и вообще быть моим «союзником», то, право, решительно ничто этому не мешает.

Вы говорите, что у меня нельзя говорить, к<а>к следует: это случайно; я не ожидала Вас в этот день и час; у меня есть моя комната, где никто не смеет мешать мне; а известные дни в неделе, кот<орые> я оставила себе на занятия, никто не может придти ко мне, если я не зову; так, напр<имер>, вечера среды или пятницы. Дать своего дневника в течение всего этого месяца я не могу никому, но если Вам интересно, я могу прочесть Вам некот<орые> страницы, таких довольно много.

Л. Гуревич.

---

[1] Речь идет о «Кратком изложении Евангелия» Л. Толстого (1883) — извлечении из его обширного труда «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880—1881); под загл. «Новое Евангелие» текст широко распространился в рукописях и литографиях, впервые опубл. в английском переводе в кн.: «Christ's Christianity». By count Leo Tolstoï. Translated from the Russian, London, 1885; на русском языке под загл. «Краткое изложение Евангелия» — в издании М. Элпидина: Женева, 1890. Подробно см.: *Толстой Л.* Полн. собр. соч.: в 90 т. Т. 24: Произведения 1880—1884 гг. / подг. текста и комм. Н. Н. Гусева. М.: Гослитиздат, 1957.

[2] Ин 16: 33.

[3] *Милль Джон Стюарт* (англ. John Stuart Mill; 1806—1873) — философ (сторонник «утилитаризма»), социолог, экономист, политический деятель; член Британского парламента от Либеральной партии, боролся за равноправие женщин.

[4] Цитата из феминистского труда Дж. Милля «Подчинение женщины» (The Subjection of women, 1869), в рус. пер. под ред. и с предисл. Г. Е. Благосветлова: *Милль Дж. Ст.* О подчинении женщины. СПб.: тип. А. Моригеровского, 1869. С. 153; вариант заглавия в др. изданиях и др. переводах (1870 г. и позднейших) — «Подчиненность женщины».

[5] Там же. С. 155.

7. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

Ночью 7—8 октя<бря> <18>87 г.

Нет, пылкий друг, я не гожусь
Пытать умом твой дух пытливый
И охлаждать твои порывы!
Скорей я сам тобой зажгусь,
Твои безумные стремленья
Безумным сердцем полюблю
И со слезами умиленья
Твой вещий бред благословлю...
И пусть не верю я рассудком,
Что ты великое свершишь,
Что в сердце пламенном и чутком
Ты силы высшие таишь, —
Но всякий раз твоим признаньям
С восторгом тайным внемлю я,

Как усыпленная змея
Священным внемлет заклинаньям,
И сам не знаю, отчего
В душе сомненье исчезает
И жало смеха моего
Тебя касаться не дерзает.
И долго после я томлюсь
И слышу голос твой правдивый...
Нет, пылкий друг, я не гожусь
Пытать умом твой дух пытливый!..

Н. Минский

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 27.

8. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

8 октября 1887.

А я сегодня верю и рассудком, яснее и тверже, чем когда-либо! Вчера еще была «мертвая точка»: мне надо было хоть на секунду опереться, удариться о стену, и в этом сотрясении обрести свой центр тяжести. Это был кризис... Я не знаю, не умею объяснить этого, но это правда. Вы увидите. Я не допускаю мысли, что все, что я сделала со своей личной жизнью, было сделано ради какой-то химеры; это была б какая-то болезненная фальшь, а фальши нет во мне. Когда Вы вчера говорили, сначала, в тоне сомнения, я замерла на секунду, и... кризис кончился. Я не умею объяснить этого. Вы видите — Вы для меня много сделали. Теперь я работаю, уже сегодня, к<ак> давно не работала: не лихорадочно, а ясно и здорово, и так хорошо!

«Я страстно хочу жить и показать, что люди, не мирящиеся с обыкновенной жизнью, все же созданы для жизни!..»[1].

Разве не в моей власти «запереть пары», если я верю в будущее? И разве не в тысячу раз легче запереть пары, чем тогда, тогда — вырвать с корнем — ясно и сознательно — все, что есть личного, весь эгоизм. Запереть пары — раз сознав, что их нужно запереть — это так просто! Вы увидите.

Ваши стихи[2] взволновали меня; я не думала...

Л. Гуревич

Конверт:
Здесь
Караванная, д. № 6.
Его Высокоблагородию
Николаю Максимовичу
Виленкину

[1] Автоцитата, см. письмо Л. Гуревич от 5 окт. 1887 г. — п. 6.

[2] Имеется в виду стихотворение Минского «Нет, пылкий друг, я не гожусь...», см. п. 7.

9. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

14 октября 1887
СПб. Надеждинская 34, 7.

Присылаю Вам Гамлета[1], п<отому> ч<то> было бы глупо жеманиться и не давать, раз Вы просите, но в сущности, мне это неприятно. Я не касалась его с прошлого года, а теперь перечла и вижу.... очень многое! Вторая половина с 3-го действия, с половины 3-его д<ействия> — оч<ень> слабо, не цельно, не твердо; вообще возмущает меня самою. Я прощаю себе это только потому, что писала тогда более чем спешно. Теперь я вижу, живо и ясно сознаю многое, что должно лечь в основу 2-ой половины работы, с 3-его акта; летом я непременно переделаю «по-настоящему». Я теперь не боюсь; не буду откладывать на несколько лет, к<ак> гов<орила> еще недавно. Гамлет — занимает меня уже 5 лет, я пережила его всем существом, и если бы я тогда писала этот реферат по-человечески, а не в одну ночь с жаром и головной болью, я могла бы дать гораздо более совершенный результат этой 5-тилетней духовной работы.

Но — если хотите — прочитайте, к<а>к оно есть — это безобразное дитя лихорадочной ночи.

Л. Гуревич

[1] Текст реферата Л. Гуревич «Гамлет» (1887) не сохранился.

10. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

21 октября 1887 г.
СПб.

Большое Вам спасибо за книгу[1]; я сейчас же прочла, и сегодня весь день музыка стихов и мысли, облеченные в форму стройную и легкую, к<ак> греза, носятся в душе моей. Хочется высказать теперь же свое впечатление; живое и непосредственное. Я буду говорить прямо все, что подумается или почувствуется — гармония ли то или диссонанс; не сердитесь на меня: я ненавижу думать о ч<е>л<ове>ке иначе, чем говорить ему, хотя в этой навязчивой прямоте и нет смысла.

Читая сегодня Ваши стихи, я понимала их лучше, чем прежде, и кажется мне, что это благодаря нашему последнему разговору. Я вынесла из него то впечатление, которое может объяснить каждую Вашу строку и которое должна была бы давать, но не вполне дает Ваша «муза — бледная, как приведенье»...[2] Я читала и думала — к<а>к мно-

гие не поймут Вас, того, что составляет note dominante[3] Вашей поэзии; чтоб понять ее, надо самому пережить это огромное жгучее «зачем», обращенное к мирозданью. Кто сам не пережил этого, в том Ваши слова ничего не разбудят и только вызовут недоуменья. Ведь люди ищут забвенья и примиренья с жизнью и, не находя здорового и чистого напитка, который мог бы удовлетворить эту духовную жажду, утоляют ее — кто чем может; они отравляются, губят себя этим, но — жажда утолена, и они даже не понимают ее в других.

Только вот что удивляет меня: отчего так немногие из этого отдела Ваших стихов действительно сильны? Почему во многих из них вместо палящей жгучей жажды чувствуется только «унынье и бессилье»? Или поэт сам, к<а>к другие, пытается залить жажду напитком, туманящим мозг и разрыхляющим душу; — и только в глубине души что-то бьется и протестует, и хочется подняться, простирая руки к небу... и чувствуешь, к<а>к тяжело налегли сверху эти напускные разрыхленные слои души!.. Да, тогда понятно это «унынье и бессилье», понятно, почему

«Без образов, как дым, плывут эти страданья,
Беззвучно, как туман, гнетет эта тоска...»[4]

И к<а>к душа моя протестует против этого!... Да, я не умею объяснить иначе, такой расплывчатости этой, по своей сущности, святой тоски, святого беспокойства. — Я не принадлежу к людям, которые думают, что поэзия не существует без пестрых красок и образов материального мира; о нет! величайшая, вдохновеннейшая поэзия заключается — в моих глазах — в самых бесплотных порывах духа, в самых бесформенных страданиях. В этой поэзии не может и не должно быть пестрого узора или действующих на нервы образов. Но не должно быть и расплывчатости и туманности, к<а>к нет ее в самом этом чувстве жажды — остром, жгучем, прозрачном, как сверкающий алмазами волшебный напиток... В самой тоске может быть сверхчеловеческая сила, выраженье ее может быть криком, от которого дрогнут горы. О, это я понимаю! Но «унынье и бессилье»? Или это знаки времени, «наш век больной»...[5] Но отчего же я не знаю этого унынья и бессилья на опыте? Значит, можно сбросить этот давящий гнет, — или эта грусть, «гнетущая беззвучно, к<а>к туман» рождается из иного источника, чем ясная, жгучая, рыдающая тоска духа — человека, оторвавшегося от своего источника и затерявшегося в материи вселенной? Я хочу понять это, понять Вас, я ищу нити, проходящей через Ваши стихи... Опять — тоска, тоска, — «любить людей — за что?»; «Никого я не люблю, Все мне чужды; чужд я всем; ни о ком я не скорблю, и не радуюсь ни с кем», «Как радости людей и скорби их смешны»...[6] О, неужели?.. Я не понимаю! Люди... — да, они мелки, я это рано поняла и уже давно писала: «на какой постоянный разлад, на какую драму обречено сердце ч<е>л<ове>ка, ненавидящего порок, грязные ч<е>-

л<овечес>кие инстинкты, все дурное и нечистое, и в то же время любящего человечество, это громадное вместилище всевозможных пороков, всевозможных нечистых инстинктов»... «...Люди — дурны, — вот результат прозрения на мир Божий. Люди почти все — стадо животных, злых, эгоистичных, пошлых, бросающих грязью во все, что выше их уровня, что заставляет их б<ыть> м<ожет> почувствовать неприятное сосание невидимого, крохотного червя в душе — зародыша задавленного, неразвившегося зародыша прекрасного и высокого... Люди эгоистичны и злорадны, они живут во тьме, не знают себя, склонны считать себя лучше, чем есть; они платят злом за добро, и сами не замечают этого, люди — гадки. Но есть в них одна черта, свойственная всем без исключения (и бесконечно дорогая мне): это... — потребность залить какую-то внутреннюю жажду, потребность заполнить свою пустоту, не разбирая чем, потребность забыться. Эта черта проходит через историю; она заметна везде, в окружающем, как в художественном произведении. Эта черта — эта жажда забыться делает их на деле еще более гадкими: их пошлость, все их злые качества — делаются из-за этой черты — активными: один — находит наслажденье в том, чтобы мучить, «истязать всякого, кого может; другой — все силы души вмещает в сладострастье...» Не этой ли жаждой объясняется то, что ч<е>л<ове>к — хуже животного? Это не парадокс ума, любящего оригинальность; это то, что чувствует моя душа. Люди — невыразимо гадки именно потому, что душу их гложет неумолимый червь духовного начала и они не знают, — что делать с этими духовными силами, куда приложить их и если даже приложить к как<ому>-ниб<удь> делу, — то в конце концов — «зачем»? Разве это не то же наше «зачем», только не сознанное? И разве это не заставляет меня бесконечно любить людей именно потому, что они — не к<а>к животные, а хуже животных? Чувство безумной, бездонной жалости к этим гадким мелким людям встает в моей душе; и в минуты моего жгучего, чистого «зачем» я люблю грязный род ч<е>л<овечес>кий, к<а>к собратьев по страданью...

Все мне чужды,
Чужд я всем...[7]

— этого я не понимаю! Люди заблудившиеся и страдающие, к<а>к отставшие от своего Отца, перепуганные дети, люди, носители духа, не умеющие постичь умом Отца, перепуганные дети, люди, носители духа, не умеющие найти умом своего Духа в небе, — они должны жаться тесно друг к другу, чувствуя свое родство, свое духовное и кровное родство. Это — и инстинктивно, к<а>к у детей (впрочем, если в душе их уже пробудился первый луч сознания), и сознательно. Конечно, между людьми есть старшие и младшие; мы — из старших, к<а>к же не чувствовать нежной, покровительственной любви к маленьким, беспомощным, не понимающим даже своей пользы братьям? К<а>к

может быть пуста и холодна жизнь?.. Я знаю, правда, что когда я иду в праздник по Невскому, и люди мелькают, мелькают передо мной, пестрые, пошлые, самодовольные — мне мож<ет> сделаться на минуту безвыходно-гадко и пусто; но уже через минуту — я замедляю шаг, я вглядываюсь в них, в эти жалкие мелкие фигурки, и останавливаюсь мысленно на какой-нибудь одной — на любой, и мысленно рассказываю себе ее историю... Сердце сжимается тоской: под маской пошлого самодовольства я узнаю ч<е>л<ове>ка, который хуже животного, и следовательно, уже чувствую в нем брата... —

> «В душе, в людской душе, в прекрасном храме мира,
> Нет больше божества и даже нет кумира...»[8]

— Я думаю, что именно: больше нет «кумира»; божества никогда не было в ч<е>л<овечес>кой душе — божество невместимо огромно для маленькой души маленького ч<е>л<ове>ка; когда ч<е>л<ове>к думал, что имеет божество в своем представлении, то имел всегда только идола: хотя бы этот идол и был частью действительного Бога-Духа — но всегда только частью, облеченной его творческим воображением в ограниченный образ. На что мне такой Бог? Я сама отрекусь от этого идола, кот<орый> люди в своем величайшем, наивнейшем заблуждении называли истинным Богом. Жажда только всегда была, о конечно, — все та же вечная великая жажда, объединяющая человечество и ведущая его к какой-то неведомой цели, не позволяя ему успокоиться и остановиться. Эта жажда конечно и есть голос Бога в ч<е>л<ове>ке, того — неизвестного, непонятного мне, слишком громадного для меня Бога. И для меня — эта чистая жгучая форма духовной жажды, ничем не заливаемой, с презрением отбрасывающей все суррогаты нужного мне божественного напитка, для меня — самая эта жажда, которую я ощущаю в себе и кот<орой> я не вижу в прежних людях в этой, чистой форме — она служит для меня залогом ч<е>л<овечес>кого развития. Вы раз сказали: род ч<е>л<овеческ>ий вырождается. Я не верю этому: когда люди не могут довольствоваться игрушками своего воображения — это значит, что они растут. Когда я гов<орю> себе: я не хочу прежнего ч<е>л<овечес>кого Бога и лучше останусь без живого Бога — п<отому> ч<то> Бог необъятен для моей маленькой души; — я чувствую себя более крупной, чем другие люди, п<отому> ч<то> в эту минуту я чувствую в себе бессмертное бесконечное начало: я чувствую, что там, в глубине, в мастерской моей души — есть хозяин, имеющий понятие о чем-то большем, чем эта маленькая мастерская... Это может быть зародыш нового, будущего человека, более крупного по духу, чем люди — мы, это только зародыш, потому что он даже не в силах раздвинуть стенки моей души и только знает о чем-то большом, не вместимом в мой ограниченный разум, в мою ничтожную душу. Но когда я знаю о чем-то большем, чем я сама, и уже чувствую бесконечное блаженство: я отделяюсь от

толпы людей, я простираю руки к небу, я чувствую себя на границе человеческого, на границе, за кот<орой> открываются для ч<е>л<овечес>кого разума еще недоступные ему теперь, безбрежные горизонты, в бесконечном будущем открывается мне смутная надежда возможности для человека увидеть Бога ближе, чем мы... Голова моя идет кругом, вся душа моя устремлена к бесконечно-далекому будущему..... — это то состояние духа, когда «страдание, скорбь и блаженство и радость срастаются своими вершинами...»[9].

И можно ли после этого тосковать о потерянном лживом образе Бога? Разве Вам доставляют какое-ниб<удь> удовлетворение очень дурные портреты дорогих лиц (духовный образ которых слишком ясен и не дает возможности удержать в воображении их физич<еского> облика; — м<ожет> б<ыть>, впрочем, это субъективно у меня). Я всегда рву или жгу дурные портреты и предпочитаю не иметь ничего в воображенье, только смутный духовный облик в душе. Зачем же нам кумир? И зачем заливать свою жажду ядом, зажигающим мозг и подрывающим силы? Мож<ет> быть потому, что люди не пробовали сохранить во всей ее чистоте эту мучительную, но святую жажду, этот ад и рай вместе взятые? Или почему же?.. Потому, что люди еще не знают, куда привез бы тот белый, чистый конь Платоновской колесницы, о кот<орой> Вы мне рассказывали, и им страшно этих неведомых еще им путей, по кот<орым> помчит он, если обрезать упряжки темного коня и низвергнуть его в бездну.... ....

«Нет, не случайно мы в свет родились!
Где-то земные нестройные клики
В гимн ликованья сольются великий.
Здесь в моем сердце они уж слились!..»[10]

А эта страница, разрешающая гармоническим аккордом ряд раздирающих диссонансов души, — случайно она заключает этот отдел, для гармонического эффекта или она действ<ительно> есть последнее слово поэта?

Я пишу, пишу без конца, потеряв счет страницам. Я еще многого не сказала. Но довольно, остальное — не так важно, или — просто осталось в душе такой гармонией, что нельзя и выразить словами. «Элегия»[11] преследует меня сегодня целый день, — даже не стихи, а музыка, которой можно было бы выразить то, что гов<орят> эти стихи: я не могу писать стихов, никогда не писала их, но все, глубоко потрясающее меня, возбуждает во мне, кроме отклика, — тот или другой род творчества; и музыка поет в моей душе сегодня...

Только одна негармонич<ная> нота в этой вещи: зачем камень осужденья, слова о лицемерии, понять и простить[12] — что мож<ет> б<ыть> иного в таких случаях. Простить — это пустое слово, но понять и простить... — не слова, п<отому> ч<то> это одно и то же,

а ч<е>л<ове>к может понять; немногие представляют себе, как много может все, все понять ч<е>л<ове>к и как много может он простить.... Есть в этом стихотворении две строчки, от которых у меня слезы побежали из глаз; а я, каж<ется>, никогда еще не плакала от стихов; я трудно, мало плачу. Это замечательная вещь — эта «Элегия»... Но простите, что я так много говорю о ней, что я вообще говорю о ней...

Я вообще писала все, что думалось и чувствовалось, не выбирая, ни с чем не сообразуясь.

Еще раз спасибо за книгу.

Л. Гуревич

---

[1] Речь идет о книге Н. Минского «Стихотворения» (СПб.: тип. В. С. Балашева, 1887); вышла в свет около 5 окт. 1887 г.

[2] *«муза — бледная, как приведенье»* — неточная цитата из стихотворения Н. Минского «Вакханкой молодой она ко мне вошла...» (1887); ср.: «Бледна, как приведенье, / Недвижная она стояла и с тоской»...» (*Минский Н.* Стихотворения. СПб., 1887. С. 3; далее сокращенно: *С—1887*).

[3] note dominante (*фр.*) — доминирующая нота.

[4] *«Без образов, как дым... ...гнетет эта тоска...»* — цитата из стихотворения Н. Минского «Напрасно над собой я делаю усилья...» (1885). *С—1887*. С. 57.

[5] *«наш век больной»...* — цитата из стихотворения К. Фофанова «Чем смертоносней влага в чаше...» (впервые: Новое время. 1893. 4 апр. № 6149. С. 2).

[6] *«любить людей — за что?»* — цитата из стихотворения Н. Минского «Дума» («Отрады нет ни в чем. Стрелою мчатся годы...», 1885). *С—1887*. С. 65.

«Никого я не люблю, и не радуюсь ни с кем» — цитата из стихотворения Н. Минского «В минуту скорби» («Полночь бьет... Заснуть пора...», 1885). *С—1887*. С. 60.

«Как радости людей и скорби их смешны» — цитата из стихотворения Н. Минского «Напрасно над собой я делаю усилья...» (1885). *С—1887*. С. 57.

[7] *Все мне чужды, / Чужд я всем...* — цитата из стихотворения Н. Минского «В минуту скорби» («Полночь бьет... Заснуть пора...», 1885). *С—1887*. С. 60.

[8] *«В душе, в людской душе... ...и даже нет кумира...»* — цитата из стихотворения Н. Минского «Наставники мои! О, Пушкин величавый...» (1885). *С—1887*. С. 58.

[9] Перифраза цитаты из Платона, предпосланная Н. Минским в качестве эпиграфа к поэме «Прокаженный» (1885), впервые: Вестник Европы. 1885. № 6. С. 563—565; *С—1887*. С. 117.

[10] Неточная цитата из стихотворения Н. Минского «Песня» («Через пучину житейской невзгоды...», 1886). В тексте: «Люди, мы в свет неслучайно сошлись!». *С—1887*. С. 72.

[11] «Элегия» («Напев любви, ее напев любимый...», б. д.). *С—1887*. С. 129.

[12] Имеются в виду строки из стихотворения «Элегия»: «И те слова и слезы были ложь. / Но я не знал, что сердце лицемерит». *С—1887*. С. 143.

11. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

27 окт<ября> <18>87 г.[1]

Я с большой грустью прочел Ваше письмо — честное, правдивое, благоразумное. Конечно, каждый человек имеет право дорожить или,

вернее, дорожиться интимной жизнью своей души и никого не впускать в ее «святая святых». Теперь я понимаю, насколько наше предложение было безрассудно. Но Вы сами отчасти или даже виновны, вызвав его. Ваша безрассудная откровенность с людьми почти незнакомыми подействовала на меня заразительно, и мне на минуту показалось, что я полюбил Вашу исступленную душу не совсем обычной любовью. Но я впечатлителен, — и первый расчетливый шаг, первое колебание, первое размышление с вашей стороны, вернуло и мне способность размышлять и рассчитывать. Симпатия — это небесная роса, увлажняющая сухое, себялюбивое, человеческое сердце, и дыхание <?> рассудка превращает ее в иней. Я говорю о симпатии мистической, беспричинной, безрассудной. Вы думаете, что она делится на части, что одному человеку, с которым Вы были дружны пять лет, Вы можете уделить всю симпатию, а другим, которых Вы видели пять раз, следует уделить половину ее, или три четверти, или пять шестых. Мне же кажется, что если смотреть на человека, как на «homo sapiens», то мы и совсем нашей симпатии не стоим, ибо человек — существо злое, порочное и лживое. Но если почуять в нем часть божества, способную своим общением вызвать в нашей душе чувство какого-то святого настроения или экстаза, тогда мы должны ему раскрыть всю нашу душу, без ограничений, невзирая ни на какие условия времени или удобства, или пользы. Первый я бы никому не стал предлагать интимное общение душ, — я охлажден <?> жизнью и привык к одиночеству. Но Ваши письма были для моей отдыхающей <?> души трубным гласом, теперь я вижу свою ошибку. Вы, в самом деле, не безумны. Безумие Ваше длилось, по Вашим словам, шесть недель и прошло, как болезнь. Теперь Вы выздоровели, а быть может, только заболели. Жалею, что моя ошибка даже не послужит для меня уроком: едва ли скоро захочется мне стать с кем бы то ни было в такие отношения, в которые по недоразумению стал с Вами.

Простите тон этого письма. Поверьте, что я не менее ясно, чем Вы сами, понимаю Вашу правоту. Вы поступили честно и разумно, предложив свои условия. К сожалению, дело, которое мы затевали, дело, по нашей и, во всяком случае, по моей мысли, <было> чем-то почти безусловным. Рассчитывая, подобно Вам, я нахожу, что и в самом деле, я слишком много хотел Вам дать.

Но это я говорю от моего имени. Ф<лексер> сегодня будет у Вас и будет говорить о Вашем письме, вероятно, с меньшею горечью.

<Подпись>

Господень светлый храм стоит, для всех открытый,
И замкнута для всех печальная тюрьма.
А мирных жителей все прочие дома
Открыты для одних, и для других закрыты[2].

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 25—26 об.

[1] 27 окт. 1887 г. Гуревич записала: «...Я опять не сплю, т. е. засыпаю на рассвете. Это время меня волнует М<инский> своим безумием. Никто еще не относился ко мне так... В пятницу он неск<олько> раз довел меня почти до волнения: я с непривычки не знаю, не умею держаться ровно и спокойно в ответ на эти слова. Какие слова? Да вот то, что он безумный ч<е>л<ове>к, что он минутами видит во мне свой идеал <...>» (РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 31, л. 76 об.).

[2] Экспромт Н. Минского.

12. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

30 октября 1887.
СПб.

«А он, мятежный, просит бури,
Как будто в буре есть покой...»[1]

Я думала, что Флексер скажет Вам то, что мне нужно было объяснить Вам в ответ на Ваше письмо, но я только что узнала, что эти дни Вы не виделись с ним и потому предпочитаю написать Вам. Ваше письмо вызвало в моей душе целую бурю негодования на Вас: я хотела тогда же написать следующее: «Так, значит, я тоже ошибалась в Вас, значит, Вам нужна была не я, к<а>к личность, а только объект Ваших фантазий, для формулы +lg. ∞[2], для красивых драпировок плаща Сивиллы!.. Если то мое письмо могло вызвать Ваши строки о «мирных жилищах», с кот<орыми> Вы меня сравнили[3], значит, Вы не хотите докопаться до правды, не ищете живой души, а ищете только эффектов. И если Вы не понимаете, что... в конце концов я именно безумный ч<е>л<ове>к на все обыденные мерки и что я хочу этого кружка более Вас самих, если Вы этого не понимаете, то Вы ничего не понимаете и не хотите понять во мне».

Только потом, думая о Вас и о своем письме и стараясь уяснить себе самой мотив этого письма, я поняла, что виновата была я, а не Вы, что письмо мое было, действит<ельно>, смешно и противоречит моей сущности, и что Вы были не обязаны сквозь мое письмо прочесть непосредственный голос моей души. Я, действ<ительно>, «мудрствовала лукаво» в том письме, мне вовсе не надо было давать время обдумывать, мое непосредственное решенье, первое решенье — в конце концов, всегда вернее всяких размышлений. На мои мудрствования тоже были свои причины, вот они: когда я готова уже была сказать свое «да», во мне вдруг встали образы прежних друзей, любящих меня всей душой, интересующихся или интересовавшихся всякой мелочью моей чисто личной, Вам м<ожет> б<ыть> неинтересной жизни. И это — 1) вызывало во мне чувство страданья при мысли о своей невольной и неизбежной измене; — я преданная и верная по натуре; и 2) я невольно измерила Вас на ту, старую, здесь неуместную мерку, т. е. забыла, что Вам, действ<ительно>, даже не может быть <так!> интересны многие мелочи. И мне захотелось сознательно провести

перегородку между тем, что я дам Вам, и тем, что, давая им, я не дам Вам. Все это было совершенно не нужно, все это подразумевалось само собой и потому мое письмо могло произвести эффект только комический и неприятный. Но повторяю — я мудрствовала лукаво. Делить искренность, конечно, нельзя, и написав первое письмо Вам и Ф<лексеру>, я уже сразу изменила всем прежним друзьям, невольно признав их для себя недостаточными. Следовательно, тут и говорить было не о чем; мое письмо было не нужно, и Вы ни в чем не виноваты.

Не скрою, что я впала в неизмеримую тоску от Вашего письма: я почувствовала, что, раз вырвавшись из прежних рамок, я уж больше никогда не войду в них; увидев новых людей, более подходящих ко мне, я ушла от прежних; а эти новые — из-за одного моего письма проглядели в конце концов мою сущность и сами ушли от меня! Мне оставалось проводить Вас полу-негодующим полу-презренным хохотом за Вашу слепоту, — я думала, окончательную. Но Ф<лексер>, знающий Вас лучше меня, уверял меня, что эта слепота вызвана моим же письмом, временная, — и я — желая поверить, — поверила. Не знаю, насколько я была права в этом случае и не поступаю ли я еще более безумно, чем прежде, говоря Вам в ответ на Ваше письмо: для меня кончены счеты с прежними друзьями, одного из них и без того уже не было, остальным я изменяю для кружка.

Очень возможно, что Вы скажете: уже поздно. Вы скажете это, если Вы — солома, легко воспламеняющаяся и скоро потухающая... п<отому> ч<то> больше уже нечему гореть. М<ожет> быть, это так и есть, я Вас не знаю. Но я пишу это письмо, п<отому> ч<то>... каж<ется>, действительно, я безумная.

Л. Гуревич

---

[1] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус» (1832).

[2] Смысл высказывания не поддается комментарию (логарифм бесконечности — ?); воспроизведены знаки — логарифм (+ lg) и бесконечность (∞).

[3] См. письмо Минского от 27 окт. 1887 г. — п. 11.

13. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

3 ноября 1887.
СПб.

Посылаю Вам книгу, исчерканную заметками, и фельетон Флексера[1], о кот<ором> напишу ему самому и о кот<ором> следовательно не стану писать Вам отдельно. Ему же разовью начатую на полях книги мысль по поводу «Прокаженного»[2]. А Вам отвечу на Ваше письмо.

Вы знаете, — я глубоко впечатлительна ко всякому хорошему слову, и оно падает мне прямо в глубину души, чтобы остаться там навсегда.

Уверяю Вас, что, когда в Вашей душе останется от соприкосновенья со мною только бледное, как призрак, воспоминанье, в моей — каждое Ваше слово и каждая строка Вашего письма будут живы и дороги, к<а>к теперь. «Дурное — забывается, хорошее — никогда», по крайней мере для меня. Каждое слово любви и доверия, каждая новая мысль или образ, заброшенный в мою душу, падают в нее добрым семенем или благотворным дождем. И привыкнув жить сознательно, я всегда знаю, кто какой след оставил по себе в моем развитии, в моей жизни. Имена таких людей пишутся в моей памяти, не к<а>к на аспидной доске[3], с которой легко стираются, а выгравировываются на камне, чтобы сохраниться навсегда. И по мере того, как растет ч<е>л<ове>к, растет и эта скрижаль, и выбивая на ней новые имена, для которых всегда есть место, только лишний раз глядишь на прежние... И услужливая память выдвигает из-за имен живые образы... живые-живые, до боли живые! Длинной вереницей проходят они один за другим, некоторые — загадочно глядя вдаль, другие грустно и приветливо улыбаясь; и на некоторое время снова спускаются в темную глубину моей души... И какую бурю производит появление каждого из них!.. Так у меня; я знаю это по опыту и, говоря кому-нибудь, как теперь Вам: «Я никогда не забуду», — действительно никогда не забываю...

Уже из этого Вы видите, что я далека от отношения к Вам, как к «педагогу»[4]. Разве я не чувствую, как кто относится ко мне, и разве Вы могли бы быть «педагогом»! Вчера ведь — это была шалость; неужели она могла задеть Вас? Я просто школьничала, поддразнивая зараз и отца и Вас, и высказывая в этой запутанной форме мысль, предназначавшуюся для Вас, но не для него... Что мысль тут была — это правда; я сейчас изложу Вам ее прямо, к<а>к уже начала говорить вчера по поводу чтения Бобр<ищева>-Пушкина[5]: зачем Вы опасаетесь, что я пойду по пути, который ни на одну минуту не ослепляет меня? Клянусь Вам — я не собираюсь быть ни «пророком», ничем подобным, не вижу нужды реформировать — ни искусство, ни науку, и только твердо верю, что, будучи человеком разносторонне одаренным, выработаю из себя ч<е>л<ове>ка... необыкновенного. Вы опять скажете: не верю... — Все равно; я не стану убеждать на словах; мы увидим. А теперь скажу только, что во мне есть еще много сторон, которых Вы не знаете и кот<орые> именно и дают мне мое такое твердое и ясное убеждение. Не думайте, что я прячу их; просто — мы знакомы еще слишком короткое время, чтобы успеть развернуть перед Вами весь огромный свиток ч<е>л<овечес>кой души. Еще одно слово по поводу «педагогики»: Вы вчера действ<ительно> неприятно поразили меня своими словами о том, что я еще не жила: эти Ваши слова собств<енно> даже не имели смысла по отнош<ению> ко мне: Вы знаете, что в la fomeuse[6] «интуиция» помогает мне часто постигать вещи, которые знать по опыту я не могу. Ведь Вы уже видели примеры

и еще увидите. А тут это было совсем неуместно: дело шло о любви; не Вам отрицать, что люди любят вполне независимо от возраста, и было бы странно и слишком уж «не психологично» не допускать, что женщина до 21 года может пережить все глубину любви... Я рано начала жить и очень много жила; я никогда еще не встречала женщин 20 лет, переживших столько, сколько я, и уже по одному этому — среди сверстниц — мне нет равных... И потом — я очень много пережила за других; с 17-ти лет я выслушиваю от людей такие признания, такие исповеди, что другому и всю жизнь не придется... Не говорите же мне другой раз, когда я захочу сказать что-нибудь, что я не имею права судить об этом; Вы мож<ет> б<ыть> не поверите, но в сущности я скромная, и никогда у меня даже духа не хватает судить о том, чего я действительно не знаю. Я не обиделась, п<отому> ч<то> «обижаются» именно тогда, когда-таки заденет за правду, но огорчилась, думая, что оч<ень> печальное начало для кружка.

Теперь два слова о кружке: мне очень легко сделать так, чтобы нам не мешали, мешать могут только братья[7], но за искренним заявлением о том, что они мешают, с моей стороны дело не станет. Они знают, что я не люблю, когда мне мешают говорить с близкими людьми, и мешали до сих пор именно потому, что считали вас — т. е. Вас и Ф<лексера> — за «просто знакомых». И с этой точки зрения они были правы. Но сегодня я уже прочла рацею о том, что мы с вами «большие друзья» и что «судить о близости по давности знакомства — просто дико и смешно»... И рассуждения эти не преминули произвести назидательное действие! — Словом — мешать не будут, п<отому> ч<то> отец[8] более чем редко приходит раньше 2х, а до 2х можно сделать много дела!... Словом — затруднений никаких. День предоставляю Вам выбрать: понедельник (грех будет прогоняться заблаговременно), среда или четверг; лучше четверг, потому что, поздно засидевшись в среду, трудно вставать в четверг в 6 ½ утра на Лесгафта[9].

Еще о концертах. Я обожаю музыку, и 10 ежегодных симфонич<еских> концертов представляются мне какими-то звездами на темном фоне... Я живу там всеми фибрами души и ума, у меня грудь разрывается — точно что-то блестящее, сверкающее, жгучее, к<а>к огонь, и огромное, трепещущее в ней... Я, конечно, избегала там людей банальных, чтобы не страдать от дисгармонии, но от людей настоящих я никогда там не пряталась. Напротив — сердце мое переполняется любовью и восторгом, нежностью и доверием во время музыки, и, если люди не составляют контраста с музыкой, они кажутся мне особенно близкими и дорогими... Только, кажется, в этом году музыка будет хуже обыкновенного, п<отому> ч<то>... — это конечно мое личное мнение — Ауэр[10] неважный дирижер. Впрочем, я уже абонирована.

Господи, зачем я не играю! Зачем я не играю! Какое дикое безумие было бросить музыку; ведь я так понимаю ее, и она так бесконечно много дает мне![11]

До свиданья. Выберете день, когда будете приходить ко мне, и известите.

Мое письмо вдвое больше Вашего, хотя написано весьма скоро и обыкновенно...

Люба

Из дневника[12]:..... «Я сказала, что душе моей присуща какая-то высшая тоска. У меня всегда это было. Весенняя ночь с трепещущими звездами и соловьиным пеньем, мягкая, теплая, благоуханная ночь, — лучшее, что есть в природе, и музыка Бетховена — лучшее, что есть в искусстве — всегда вызывает во мне тоску жгучую и сладкую... И мне кажется, что вся я становлюсь легкая, светлая и прозрачная, руки мои невольно хотят подняться кверху — к звездному небу и... мне хочется умереть... Но есть и на земле нечто, заставляющее на минуту забыть о смерти и дающее минуты божественного удовлетворения: это любовь. Есть в любви нечто, сродняющее ее со смертью: и в любви и в смерти ч<е>л<овечес>кий дух выходит за пределы своего «я» — в смерти навеки, в любви — на моменты. И потому любовь заставляет на время забыть о смерти... я говорю о любви просветленной, глубокой, духовной. — Есть души, в которых источник любви и жажды любви — ограничен; разменявшись своим внутренним богатством с какой-нибудь одной душой, они чувствуют себя удовлетворенными; таковы должны быть нормальные ч<е>л<овечес>кие души. У меня душа *ненормальная*; ее жажда, ее способность расширяться — каж<ется> неограниченной; моя потребность в любви так бесконечна, что величайшее, что могут дать мне люди соединенными усилиями — будет едва достаточно, чтобы не тосковать и не думать о смерти... Так — мне все точно кислороду мало... Вот почему я совершенно особенно отношусь к людям, любящим меня. У других женщин это обыкновенно не так, к<а>к у меня: недобрым — «лестно», добрым — «жалко». У меня — о, совсем другое! Душа моя как бы раскрывает свои объятья, радостно, горячо, нежно, и чем больше людей, привязанных ко мне — к моей душе, — тем светлее и радостнее мне живется на свете. Моя душа — не из тех чисто-женских душ, которые, прилепляясь к какой-нибудь другой душе, отказываются от собств<енной> самостоятельности, теряют собственный центр тяжести. Я не могу потерять своей самостоятельности: в лучшем — единственном случае человек может сравниться со мной в своем духовном весе; обыкновенно — другая душа прилепляется к моей, оставляя за мной известное духовное преобладанье... Я говорю обо всем этом по опыту, хотя людей, любящих меня, в сущности мало... Или это только моей ненасытной натуре мало, хотя сравнительно с другими я должна казаться богатой?.. Не знаю, но во всяком случае каждый новый ч<е>л<ове>к, полюбивший меня, наполняет мое сердце такой восторженной нежностью, что — с моими детскими привычками! — не нахожу достаточно нежных слов, чтоб выразить свои чувства».

Конверт:
Здесь
Большая Итальянская, д. 15, кв. 12
Его Высокоблагородию
Николаю Максимовичу
Виленкину

[1] Имеется в виду заметка Волынского (без подписи) в еженедельнике «Недельная хроника “Восхода”» (1887. № 43. 25 окт. С. 1090), в которой он продолжил анонсировать книгу Минского: «В одной из предыдущих книжек “Восхода” мы имели повод выяснить литературную физиономию этого оригинального и даровитого поэта. Здесь отметим только черту, которая, конечно, не ускользнет от внимательного читателя его книги. Обрабатывая сюжеты, далекие по своему содержанию от вопросов, занимающих русское еврейство, автор “Прокаженного” в лучших своих стихотворениях всегда рельефно вырисовывается с стороны своей *племенной* индивидуальности — и неутомимой жаждой оригинальности, и своею вдумчивою серьезностью. Ум трезвый и извилистый виден почти в каждой работе поэта. В произведениях Минского ищите не легких прозрачных форм — не ими красна лежащая пред нами книга. В стихах поэта преобладает вдохновение серьезной мысли, с широко раздвинутыми перспективами, с яркими, светлыми идеалами. Именно такое вдохновение, не рядящееся в пышный убор дешевой риторики, не кутающееся в пустые холодные фразы, решительно выдает еврейское происхождение симпатичного писателя». В этой же библиографической заметке Волынский анонсирует издание первого тома пятитомной «Истории израильского народа» Э. Ренана (1887) — *Renan E.* Histoire du people d’Israël: en 5 tomes. Paris: Lévy, 1887—1893.

[2] В рецензии на книгу Н. Минского Волынский отметил: «“Прокаженный” — это небольшое стихотворение, не проникнутое тем увлечением, которым дышит разобранная нами поэма <«Вавилонское столпотворение». — *М. П.*>, но по глубине мысли и чувства, по простоте и задушевности исполнения соперничающее с лучшими созданиями молодой русской поэзии. <...> Как хорошо, трогательно поэт раскрывает перед нами психику человека, вышедшего из своего лога, чтобы издали посмотреть на храм, к которому ему путь навсегда загражден» (*Волынский А.* Библия в русской поэзии. Этюд второй // Восход. 1887. № 9. С. 74). Письмо Гуревич к Волынскому от 3 ноября 1887 г. о «Прокаженном» не выявлено (см.: РГАЛИ, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 4).

[3] Отсылка к стихотворению Н. Минского «Как сон пройдут дела и помыслы людей...» (впервые: *С—87*. С. 189), ср.: «Как с аспидной доски ненужные слова / Рукой неведомой сотрутся».

[4] См. письмо Н. Минского от 3 окт. 1887 г. — п. 5.

[5] *Бобрищев-Пушкин Павел Сергеевич* (1802—1865) — поэт-декабрист; в 1888 г. в журнале «Исторический вестник» (Т. 32, май, июнь; Т 33, июль) были опубликованы воспоминания о нем дочери тобольского прокурора М. Д. Францевой. Вероятно, Гуревич читала их до публикации, в период подготовки текста к печати.

[6] la fomeuse (*фр.*) — так называемая, небезызвестная.

[7] Братья Л. Я. Гуревич — Яков Яковлевич (см. прим. 9 к п. 40) и Григорий Яковлевич (см. прим. 1 к п. 20).

[8] Отец Л. Я. Гуревич — Яков Григорьевич (см. прим. 7 к вступ. статье).

[9] *Лесгафт Петр Францевич* (1837—1909) — биолог, анатом, антрополог, врач, приват-доцент С.-Петербургского университета, общественный деятель; организатор Высших научных курсов подготовки воспитательниц и руководительниц

физического образования; с 1884 г. преподавал анатомию на медицинском факультете С.-Петербургского университета; в 1886—1887 гг. читал лекции на Рождественских женских курсах.

[10] *Ауэр Леопольд (Лев) Семенович* (нем. *Leopold Auer*, венг. *Auer Lipyt*; 1845—1930; с 1918 г. в эмиграции в США) — венгерский и русский скрипач еврейского происхождения, дирижер, композитор, профессор Санкт-Петербургской консерватории; с 1880 г. — дирижер Придворной певческой капеллы; в 1888—1892 гг. дирижировал симфоническими концертами Императорского Русского музыкального общества.

[11] Л. Гуревич сообщала о себе в автобиографической заметке: «Никто из писателей никогда не влиял на меня так могущественно, как Бетховен, особенно его 5-я и 9-я симфонии, которые я одно время могла воспроизводить слуховым воображением, почти наизусть, и которые, можно сказать, формировали мое мироощущение» (*Гуревич Л.* История «Северного Вестника» // Русская литература XX века, 1890—1910 / под ред. проф. С. А. Венгерова. С. 237).

[12] В архиве Л. Гуревич содержатся дневники и мемуарные записи 1882—1898 гг., под заглавием «Записки»: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 27—32.

14. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

<18>87 г.
5 ноября ночью.

Спасибо, родная, сердечное, за письмо, еще большее спасибо за подпись «Люба». Прежде я так называл Вас заочно в разговорах с Ф<лексером>. Теперь это имя стало заветное — и я им буду называть Вас только наедине с собою и с Вами — если будет не очень стыдно.

Пишу я Вам сегодня второй раз. Утром начал Вам письмо в таком безрассудном, бесповоротном тоне, что сам испугался. Потом мне принесли газеты — и я прочел фельетон Скабичевского[1] — и душа моя на весь день болезненно сжалась. Презираю я от души эту писаревскую закваску[2] говорить о поэзии и поэтах с разнузданной небрежностью, вывалить в грязи на потеху публики имя поэта. Скабичевский вымарал и меня, и публику, не утаив <?> своего собственного ничтожества. Этот литературный петух перешел мою книгу в брод в одном из самых мелких стихотворений («Засуха»), да и похваляется: смотрите, вот самое светлое место книги — и какое мелкое: мне по колени[3]. В других местах — темнее. Глупый петух! Оттого темнее, что глубже! Я все это отлично сознавал, и все-таки душа моя болезненно сжалась от слов Скабич<евского>, как будто меня обнимал и целовал безобразно-пьяный человек. Стыдно будет со временем этим людям, если у них есть стыд. А впрочем, бог с ними! Чувство брезгливости уже утихло во мне — и опять окружили меня мои чудесные образы, прекрасные и возвышенные, как Вы, моя бледная, вдохновенная Люба! И столь же дерзкие... О, если бы Вы знали, какой великий мир я ношу в груди — и скоро, скоро я создам его могуществом слова. Теперь уверен, что скоро. Мое сердце до сих пор томилось и засыхало

без любви — а теперь я такой торжествующей любовью полюбил Вас[4], Люба, что, говоря это, я только понимаю, но не чувствую странность своей речи: я не могу говорить иначе. Большие, страшные слова с такой силой приливают из глубины души, что бороться нельзя с ними. Пусть они прорвутся и в один миг унесут Ваш и мой покой, и гордость, и стыд. Я и душу Вашу полюбил, и тело Ваше полюбил, полюбив Вас, как сестру, как невесту, как музу, полюбил Вас навсегда, до тех пор, как Вы останетесь тем, что я полюбил, пока Вы не умрете — умирают и при жизни. Странно, как я решаюсь Вам говорить все это. И сердце шепчет мне, и я Вам вслух повторяю, что *так* оно замирает в первый раз. Потому что в первый раз я встречаю живое воплощение своих надежд. Я боялся поверить тому, что знал с первой минуты нашей первой встречи. И если Вы меня полюбили также полно <?> — то я готов сказать судьбе: довольно! заботься о счастье других людей — мне больше не нужно! Нам больше не нужно.

А вдруг я ошибаюсь и предо мной мираж, созданный моей самонадеянностью. И вдруг я узнаю из Вашего письма, что Вы меня любите какой-то удивительно мудрой и «благодатной» любовью, разделенной на градусы <?>[5]. Тогда, дорогая Люба, я Вас навсегда оставлю. И это я сделаю, не подчиняясь чувству досады, от оскорбленной гордости, или ревности, — а потому что с любовью, не полной, не безумной, не восторженной мне делать нечего. Любовь — это яркая звезда нашей жизни, горящая то впереди нас, то позади нас. Часто мы любим, и все-таки любовь кажется нам еще чем-то ожидаемым, не наступившим. Также часто мы любим — и любовь нам кажется чем-то минувшим. Для меня теперь звезда любви горит прямо над головой, в зените жизни. Теперь или никогда наступит для меня мгновение полюбить любовью мистической, более сильной, чем жизнь, и столь же сильной, как Бог и вечность. Полюбите и Вы меня сильнее жизни и славы — и любовь вознесет нас на недосягаемую высоту просветления духовного, и экстаза, и божественной мысли — и тогда наша встреча и наш союз пройдут не бесследно для нас и для людей. А все остальные чувства — посредствующие и посредственные — тягостны. Вот почему я так смело гляжу в грезы вашей души. Если бы возможно было любить мистически любовью не взаимной, я бы не спрашивал и ждал ответ. Но ведь это должно быть мучительно. А я хочу бесконечного счастия. Знайте: Вы мне можете дать бесконечное счастие, но страдать Вы меня заставите немного. Зато этой ночи — уже минувшей — никто не может отнять у меня — ни Вы, ни даже судьба. Благословляю Вас, дорогой больной друг. Я жажду и боюсь Вас увидеть. Ведь теперь я увижу Вас совсем другой — преображенной моей любовью. Я вдруг подумал: что если бы она вошла теперь в мою комнату, бледная, улыбающаяся... У Вас смелые <?> глаза и робкая, порою даже испуганная улыбка. У Вас бесстрастная речь и больной, тоже робкий голос. Когда среди откровенного разговора Вы начинаете читать,

Ваш голос странно меняется: он становится еще тише и звучит грустным вопросом и недоумением, дрожащим и однообразным. И вместе с вопросом в нем слышится восторг. И в такие минуты я вижу Вашу девственную душу, горящую нездешним вдохновением и с удивлением вопрошающую Бога: отчего я так рано просветлена Тобою и долго ли мне осталось жить на земле? И в такие минуты я сам себя спрашиваю: долго ли проживет на земле эта чудная девушка? И отвечаю сам себе: не знаю, но знаю то, что я хочу жить лишь покуда она жива. Как я люблю Вас! Как я люблю Вашу восторженную душу!

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 20, 18—18 об.

[1] *Скабичевский Александр Михайлович* (1838—1910/1911) — литературный критик и историк литературы, близкий либерально-народническому направлению; печатался в «Северном вестнике» А. М. Евреиновой и при новой редакции, опубликовал в журнале обширный очерк «Чем отличается направление в искусстве от партийности. (По поводу сочинений Н. С. Лескова)» (*СВ*. 1894. № 4, 5). Здесь речь идет об его уничижительной рецензии на книгу Минского, вызвавшей между ними острую полемику. Основной, неоднократно повторенный тезис Скабичевского: «Итак, г. Минский не поэт, а поэтик» (*Скабичевский А. М.* Н. М. Минский, стихотворения. СПб. 1887 // Новости и Биржевая газета. 1887. 5 нояб. № 304. С. 2). О возникшем конфликте см. комм. С. В. *Сапожкова: БП.* С. 341—342; *Павлова М. М.* Заложник «Старинного спора»: вокруг «Стихотворений» (1887) Н. Минского // Русская литература. 2024. № 4. См. также п. 21 и прим. к нему.

[2] То есть следуя критическим установкам Д. И. Писарева.

[3] Скабичевский привел в статье полный текст стихотворения «Засуха» («Я помню, летнею порою...»), 1879 (*С-87*. С. 17), предпослав ему пассаж: «Настоящая сфера г. Минского — это антология; для возбуждения поэтического творчества г. Минский нуждается непременно в каком-нибудь внешнем явлении жизни, которое так или иначе поразило бы его и вокруг которого он мог бы сгруппировать целый ряд своих ярких образов и тихих меланхолических раздумий. <...> По крайней мере, в изданной г. Минским книжке лучшими являются именно такого рода произведения. Таково, например, стихотворение “Засуха” <...>».

[4] Вероятно, отсылка к мистической повести И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви» (1881).

[5] Речь идет о письме Л. Гуревич от 3 нояб. 1887 г. — п. 13.

15. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

6 ноября 1887.
СПб.

Перечтите еще раз тот отрывок дневника, который я выписала Вам в прошлом письме: я не могу сказать ничего нового... Если бы я была похожа на других, если я была нормально создана, я бы сказала, что-нибудь менее «темное»; я говорю нечто не входящее в рамки того, к чему люди привыкли; мои чувства не входят в рамки моего

разума; «мудрости и благоразумия» нет во мне и следа, я не делю свои чувства на градусы; но я повторяю только, что больше не могу любить кого-нибудь *одного* и что, если бы *все* любили меня так, к<а>к Вы, я бы выдержала этот поток лавы, эту жизнь в чистом кислороде, выдержала бы, оставшись самой собой, и только, учащенно дыша, повторяла бы: ах, к<а>к хорошо! к<а>к хорошо! Вот это жизнь!..

Вы говорите «если б любовь мистическая могла быть не взаимной...»[1] Она может, она должна быть такой по отношению ко мне. «Это м<ожет> б<ыть> мучительно»[2] — но это лучше всякого счастья. Счастье Вам пускай дают другие; я создана совсем не для счастья — ни для своего собственного, ни для счастья других. Счастье — это пустяки... Если душа Ваша устанет от любви ко мне, уходите и ищите счастья у других, а пока можете, пока хватит сил, любите меня, ни на одну минуту не допуская в себе мысли ни о взаимности, ни о счастье. Не прилагайте ко мне никаких обычных мерок. Подумайте, что я, полюбив первая, любя в течение 6-ти лет со всем пылом, со всей страстью, нежностью и восторгом, на какой только способна моя безудержная натура, — несмотря на это, первая ушла от взаимности и счастья, не допуская для себя никаких обычных рамок жизни и повторяя себе сквозь крики и стоны своей души, что я не могу принадлежать одному, потому что хочу, должна и могу быть для других тем «кого мне не хватает»...

Перечтите тот отрывок дневника, который я прислала Вам в прошлый раз. Поймите, что ко мне нельзя прилагать обыкновенных мерок. Я сама себя не совсем понимаю: я невыносимо мягка, п<отому> ч<то> не могу видеть слез на глазах людей без того, чтобы сердце мое не сжалось рыданьем, а в то же время зная, что невзаимная любовь есть мука и огонь, повторяю Вам: любите, любите, не бойтесь страданья, любите, пока хватит сил любить...

И еще вот что: не подходите никогда ко мне очень близко, владейте собой. Простите за эти слова.

Люба

P. S.

Не говорите, что увидите меня иною, «преображенною», ведь это знач<ит> — преображенною в Ваших глазах, а это значит, что Вы любите не меня, а созданный Вашим воображеньем образ. Не идеализируйте меня, умоляю Вас; не закрывайте глаза на мои недостатки, не прикрашивайте мою наружность, не забывайте, что по наружности я некрасива, а умств<енно> и душевно представляю из себя только воплощенное *стремление* к совершенству, но ничего больше. Я так боюсь принимать и радоваться любви, направленной не на меня, а на поэтическое создание Вашей фантазии!..

Любите меня, но реальную меня, а не идеализированную... Вы уверены, что любите меня?

Вас рассердит эта страница как лишняя, неуместная. Но она идет не из рассудка, а из желанья с полным правом присвоить себе эту любовь и получая Ваши письма уже не делать для себя больше никаких оговорок. Меня смутило то, что я вышла как-то очень поэтична в Вашем изображении.

---

[1] Цитата из письма Минского от 5 нояб. 1887 г. — п. 14.

[2] Там же.

16. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

7 ноября <18>87

Вы не совсем рассчитали наши силы. Любовь, которой вы велите мне любить Вас, не мука и огонь, а верная смерть через несколько недель, — по крайней мере, я так чувствую. Если бы я не должен был жить и творить, я бы, может быть, не испугался смерти от любви, но теперь я бегу от Вас. Неужели Вы не только телом, но и душой не можете принадлежать одному? Любить Вас и знать, что Вы позволяете еще кому-нибудь говорить Вам о любви своей, — это невыносимо. И сколько противоречий в том? И сколько противоречий в том, что Вы говорили прежде и теперь? Где же Ваша верность?

Безумно любить друг друга, чтобы вместе любить людей, природу и Бога — вот моя мечта. Безумно любить друг друга так, как хотелось бы любить всех людей... Понимаете Вы меня или нет? Я боюсь, что Вы любите только себя и свое тщеславие, может быть, свою славу. Я боюсь, что этому уродцу Вы принесли в жертву свою первую любовь. Вы не единственная, я знал много девушек, боявшихся взаимной любви, как могилы своей свободы и самостоятельности. В этом Ваша сила и бессилие. Кто боится могилы своей свободы, тот не свободен. Разве есть сила в мире, которая могла бы меня отвратить от того, что я считаю своим призванием и долгом? А Вы этого и боитесь. Вам кажется, что, полюбивши взаимно, счастливой любовью, Вы перестанете принадлежать людям. Если это так, Вы достойны сожаленья. Истинно великие сердца черпают во взаимной любви могучую силу. Вы мне кажетесь слабой и больной. Вы хотите дышать искусственным воздухом, чистым кислородом. Какой поразительный образ! Многие, все любят Вас любовью, которая есть мука и огонь, а Вы — холодный идол, раскалившийся чужим огнем, — приговариваете: ах, как хорошо, как хорошо!

Мы совсем разного закала люди. Я получил от Бога известные <?> силы для служения людям — и жажду помножить, удесятерить эти силы через посредство живой любви. В Вас никаких активных сил нет, но взамен есть мучительное, страстное порывание служить лю-

дям, безумное тщеславие, распаленное чтением и нездоровой столичной жизнью, зрелищем чужих побед и лавров. К тому же, Вас гложет страстный темперамент, ушедший во внутрь и ставший роковым недугом. Вы, как ночью подожженное здание, горите со всех концов — бесполезным, зловещим пламенем. Спасти Вас нет возможности — да и зачем? Для этого пришлось бы на Вас вылить целое море житейской прозы и превратить Вас в конце концов в обгорелую, безобразную груду. Вы все-таки освещаете темную ночь жизни — прекрасным, хотя и зловещим светом. И кто знает! В этой жизни, где все бесцельно, Ваша неутомимая жажда, Ваша мистическая тоска, Ваше безумное порывание к спасению людей, — все это также прекрасно и высоко, как свобода, искусство и наука. Искусство и наука — такие же тщетные порывы к бессмертию. Они умрут вместе с людьми, а Ваши порывы умрут вместе с Вами. Если бы Вам удалось хоть отчасти осуществить свои порывы — Ваш внутренний огонь тотчас померк бы. — Не жалейте, что Вы бросили играть. Будь Вы прекрасной музыкантшей, пользующейся успехом, Вам бы музыка таких восторгов не доставила, как теперь. Или тогда бы Вы были бы мертвы для других восторгов.

Но зачем я Вам это говорю? Ведь Вы не можете мне верить, если хотите жить. Мне кажется, я Вам говорю ту правду, которую человек человеку не должен говорить.

Я не только Вам, но и себе разъяснил этим письмом, почему я — Вас полюбил, и почему я должен от Вас бежать, как бежит путешественник, завидев дерево смерти. Для меня Вы — смертельная отрава, для Вас я — безвредный зритель Вашей неиссякаемой тоски. В этом трагедия нашей встречи... Увижу ли я Вас еще? Должен ли я Вас видеть?

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1. ед. хр. 153, л. 16—17 об.

17. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Между 7 и 9 ноября 1887>

Как могли Вы полюбить меня, если так не понимаете! О, Боже мой; к<а>к мне стало тяжело, душно и грустно от Вашего письма!.. Вы все считаете меня душевно-нездоровой, Вы гов<орите>, что я выросла в городе, нагляделась на славу и проч. ... скучно перечислять... Я живу в природе, с природой и с Богом, и с людьми больше, чем все, кого я знаю; я ненавижу свое тщеславие, как гадкий осадок от прежних мыслей, я не ищу больше славы, я ищу правды и любви, ищу в людях той бесконечной любви, которую чувствую в своей душе. И мне ужасно и холодно жить, п<отому> ч<то> я люблю *всех* больше, чем меня любят. Никто еще не любил меня так сильно, как я умею любить, и мне было холодно в мире, п<отому> ч<то> я постоянно лу-

чеиспускаю свой жар в пустое пространство, и люблю людей *больше, чем им кажется*. И когда я увидела, что нашелся человек, который готов полюбить меня, к<а>к я способна любить, у меня тяжесть свалилась на минуту с души, и я *почувствовала* всем существом, что жить на земле стоит. А то мне все хочется умереть, хотя я и люблю жизнь... И ведь точно я не знаю, что если я умру, то умру бесславной! А мне хочется смерти, а не славы. Тщеславие во мне стало испаряться за последний год; я его так презирала в себе...

Николай Максимович, милый, дорогой, если бы Вы знали, к<а>к неверно Вы меня судите *сегодня*! И как мне больно... К<а>к неверно рисуете Вы меня: холодный идол... Мне хочется горько смеяться и горько плакать. Меня *никто* не любил и не любит, — к<а>к я люблю других; у меня в сердце такой мучительно-огромный запас любви, что она постоянно проливается на тех, кому ее нужно. Вы не знаете, к<а>к я умею любить, Вы не можете поверить, не зная меня, что если бы Вы не уходили от меня, а остались и любили меня, к<а>к горячо я любила бы Вас, к<а>к напряженно горячо, предупредительно я любила бы Вас... Я только не назову этого чувства той любовью, о кот<орой> Вы говорите, п<отому> ч<то> для такой любви мне нужно человека, которому я могла бы молиться, как воплощению всего святого для меня, ч<е>л<ове>ка, которого бы я поставила выше себя во всех отношениях. На Вас я не могу молиться; Вас я могу любить, как равного, как любят некоторые сестры дорогого брата; но при моей безумной, несоразмерной натуре это чувство было б также бесконечно горячо, как все мои чувства, дававшие мне до сих пор одно страданье... И совсем не потому я отреклась от своей первой святой любви, от счастья любви, что я боялась потерять самостоятельность... Зачем Вы оскорбляете меня, ничего не зная.

Я не знаю, что сказать еще; мне так тяжело и больно... «Любить друг друга, чтоб вместе любить людей, природу и Бога»... — такие редкие слова это для меня, так много раз я сама говорила их! И при моей жажде любви, при той бессмертной любви, которой переполнена моя душа, не найти никого, кто *вместе со мной* любил людей, природу, Бога! Почему меня не любят достаточно? Сколько раз я задавала себе этот вопрос с безумной тоской? И почему теперь ч<е>л<ове>к, понявший меня (п<отому> ч<то> Вы полюбили меня постольку, поскольку поняли, и только потому, что поняли), и начавший любить меня, хочет уйти?

Потому только, что тут примешалась страсть! От любви не умирают; особенно от любви, которой отвечают самой нежной любовью и искренностью; на которую способны только такие дикие натуры, к<а>к моя. Умирают — да и то не умирают!... а тяжело и ужасно от страсти, а совсем не от любви. Господи, неужели нужно сказать себе, что в каждом ч<е>л<ове>ке зверь настолько силен, что не позволяет ему пользоваться счастьем любви!... Только тогда так нужно и гово-

рить себе, а не обвинять меня. Если б я не чувствовала в душе бесконечной любви, разве я искала бы этого кислорода! Я ищу его не потому что больна (я оч<ень> здорова по натуре, только у меня в душе *слишком* много *жажды*, и потому мне тяжело жить), я жажду кислороду, п<отому> ч<то> — продолжаю сравнение — во мне самой так много углерода для горенья; и мне хочется гореть, к<а>к я *могу* гореть, без вреда для себя и для других, а не прозябать, к<а>к прозябают другие. Разве это жизнь, как живут другие!

Я сказала: «я знаю, что это огонь, но все-таки любите...» Так ведь я сказала это, называя страсть огнем, но я была уверена, что от этой любви для Вас, *несмотря на огонь*, будет столько самого чистого блаженства, что нужно любить, пока хватит сил... Клянусь Вам, что если б я думала, что это будет для Вас *только* страданье, я бы сумела *вовремя* уйти от Вашей любви... Я знаю и знаю, что не могу полюбить Вас так, как Вы меня любите; но я отказываюсь допустить, чтобы любовь к ч<е>л<ове>ку, который дорог душе по своему духовному складу и который дает в ответ самую глубокую, искреннюю любовь и который дорожит Вашей любовью, к<а>к радостью и согревающим светом своей жизни, чтобы эта любовь могла быть ядом!..

Мне ужасна страсть ко мне (Вы не поймете этого вполне), но я могу закрыть глаза на нее, п<отому> ч<то> не она главное, а любовь; а любовь — это лучшее, что есть в мире. Я думала, что и для других, к<а>к для меня. Если нет — это ужасно. Я Вас не знаю, настолько, решайте за себя сами.

Если... если хотите, придите сегодня, сейчас, вообще сегодня. Если придете, но не сейчас, пришлите сказать; ждать — для меня яд, бесплодная трата сил. Если решите, что лучше нам больше не встречаться, тоже пришлите сказать, в двух словах.

Нет, еще раз, раз навсегда, поймите меня: как *сестра*, я могу любить Вас м<ожет> б<ыть> не меньше, чем Вы меня; *иначе* я могу любить только ч<е>л<ове>ка, на которого могла бы молиться.

Люба

18. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

9 ноября 1887
СПб.

Есть что-то ужасное и трагическое в нашем знакомстве, и мне невыносимо чувствовать этот разлад в душе, разлад между тем, что, по моему мнению, должно было бы быть, и тем, что есть, и даже разлад в самой душе, в самых чувствах. Посмотрите просто на дело, — к<а>к оно должно было б быть: два человека нашли один в другом отклик на то, что составляет самую заветную сторону их духа; казалось бы —

где тут место для трагедии? — Только самое светлое счастье! А между тем в действительности выходит трагедия, самая несомненная: факт тот, что вот уже неделя — я вытолкнута из колеи нормальной жизни, тоска гнетет меня, я не могу спать по ночам, и всякий при встрече со мной спрашивает, не больна ли я: такой у меня вид!.. И в душе моей такой тяжелый разлад, что вся остальная моя душевн<ая> и умств<енная> жизнь отошла на второй план. Этот разлад состоит в противоречии между двумя ощущениями: с одной стороны, я безусловно знаю, что не люблю Вас так, к<а>к могу любить, п<отому> ч<то> ни разу не проснулось в душе моей чувство экстаза, который так присущ мне по натуре; с другой стороны — мысль, что Вы уйдете от меня, наполняет меня холодным ужасом. Я сознаю, что это положение вещей не может, не должно продолжаться: меня возмущает эта напрасная трата жизненных сил, никому не нужная трата... И я страстно ищу нити, которая помогла бы мне разобраться в этом лабиринте. Я собираю свои мысли, хочу взглянуть на все это ясно: — опять, то же противоречие: две души, родственные по своей природе, нашли друг друга в мутном море жизни.... — ведь это же счастье! — И надо разойтись. Зачем? Зачем? Где тут смысл? Не выдумываем ли мы трагедию? Это бывает с людьми и этого не должно быть... Я Вам двадцать раз задавала вчера этот вопрос: зачем Вам надо уйти? Вы не могли ответить — зачем, но говорили только, что уже ушли душевно с той минуты, к<а>к я сказала, что не могу на Вас молиться. И я Вас понимаю; в том-то ведь и дело, что я Вас во всем понимаю, и говоря разные банальности вроде «одуванчика», я ни на минуту не участвую в этом душой, а через ½ минуты, сама возмущаюсь м<ожет> б<ыть> больше Вас...

Я так понимаю Вас во всем, что действительно Вы не найдете другой женщины, которая так понимала бы Вас; ничто из всего, что Вы говорите, не кажется мне новым, я слушаю и только напряженно вспоминаю: где я слышала все это? Когда переживала все, все это, до мелочи... И подумать, что человек этот уйдет и опять надо будет говорить обо всем этом только с собой, п<отому> ч<то> говорить с другими — это только трата слов, ни к чему не приводящая. Минутами так просто и ясно в душе: такое глубокое, светлое чувство встает со дна ее, и губы шепчут: о, милый, родной, зачем расставаться, когда так хорошо вместе... Но экстаза нет, и я ищу — почему нет его, если в Вашей душе проснулся этот экстаз?.. Я думала, думала сегодня об этом ночью и теперь. И вот что стало мне ясно: когда Вы вчера говорили о частице Божества, нисходящей порой в Вашу душу, Вы сделали одно оч<ень> неверное сравнение и, раз сделав его, заковали свою мысль в это сравнение, сузили ее смысл и потому нельзя было ни до чего договориться. Частица Божества (и к<а>к я понимаю, о чем Вы говорите этими словами!) — частица Божества не соловей, прилетающий на ветку; это то, что я в своем втором письме к Вам назвала «Прометеем, закованным в глубине человеческой души»[1], и гов<орила>, что цель

жизни — расковать его. Если, говоря о Вас, позабыть о скрывающемся в Вашей душе Прометее[2], то нельзя будет объяснить, что заставило меня раз навсегда почувствовать в Вас родную душу. Вы сами вчера повторяли то, что я уже раньше писала о Вас в своей тетради, и — без этой частицы Божества Вы были бы не только чужды, но и гадки мне. А между тем я во всякую данную минуту чувствую, что Вы мне близки и дороги. Но полная настоящая любовь мож<ет> возникнуть только там, где нет режущей дисгармонии; форма имеет громадное значение, и *внутренняя оболочка* сущности человека часто решает дело. Внешняя форма для меня не имеет значения — я всегда смотрю на человека *сквозь* наружность; но вот, напр<имер>, для Вас это имеет значение, — так представьте себе, что я была бы горбатая, рябая, с отвратительным лицом... — Вы бы не полюбили меня так, к<а>к теперь; не было бы полноты любви. И Вы, в целом, производите на меня впечатление безобразной дисгармонии — оттого нет экстаза. И оттого частица Божества, вспыхивая и разгораясь, только обжигает Вашу душу и не окрыляет Вас в минуту вдохновения силой могучего слова, а потухает, оставляя только бледное воспоминанье. Вы так разрыхлили, так обессилили свою душу, что она сама не может вынести тяжести своего Прометея, и когда он встает и хочет сорвать оковы, и рассказать миру тайны бытия, Вы сами не можете снести его ослепительно-сверкающего взгляда и не умеете, не можете сделать себя его посредником. Вы сами — враг своего Прометея, и я не уверена, что Вы когда-либо сумеете расковать его. Я не чувствую в Вас никакой силы, никакой духовной мощи, Вы кажетесь мне нравственно разбитым параличом, а любить всецело можно только цельного человека. И трагедия нашей встречи таится в Вас, а не во мне. И это действительная, невыдуманная трагедия, теперь я понимаю это.

Я сказала Вам вчера, что не верю в Вас; но я не хотела этим сказать, что не верю в Вашего Прометея; б<ыть> м<ожет> я опять неудачно выразилась. Я не верю только, чтоб человек, разбитый параличом, мог освободить его, и не допускаю для себя возможности любить такого человека всецело. Я так и говорила Вам: меня отталкивает Ваше бессилие... Когда я получила Ваше письмо — 5 ноября[3] — я была потрясена им: в нем была сила, и мне показалось, на минуту, что любовь разорвет оковы Вашего Прометея. Вы писали мне вчера, что *настоящая любовь дает силу*... Вы были правы: я это знаю лучше Вас, п<отому> ч<то> я любила всем существом, а Вы еще никогда не любили так, как я умею любить. Я смотрю на любовь радостно и ясно (хотя Вы и говорите, что я смотрю на нее нездорово! К<а>к Вы ошибаетесь!) — а Вы делаете из нее болезнь и смерть. И любовь может жить без полноты взаимности: к<а>к может мешать ее силе то, что любимый ч<е>л<ове>к презирает в Вас то, что достойно презренья? Можно страдать нестерпимо от сознания, что не можешь вызвать в любимом ч<е>л<ове>ке полной любви, и в самом этом страданье находить

искупительную силу для своих пороков, и через самое это страданье приблизиться к нему и находить в этом блаженство. Если у человека еще есть силы любить и страдать, ничто для него не потеряно. Но если на самую любовь у него не хватает сил и он состоит из цепи скоропроходящих порывов, — нужно поставить крест над человеком и уйти от него, чтобы не страдать обоим. Я еще так молода, так полна сил, так далека от экстаза, и потому могу только жалеть, но не любить слабого. Есть особенная любовь к слабым и жалким: ее бесконечно много в моем сердце; но любовь к одному человеку должна исходить из другого источника: из любви к прекрасному... А Вы производите во мне чувство дисгармонии и страданья.

Поймите меня глубоко, *сквозь* слова, сегодня я лучше выражаю свои чувства; поймите меня. Станьте на мою точку зрения и решите, если можете: способны ли Вы еще любить и находить силы в любви. Если да — ничего не потеряно: впереди целая жизнь... Если нет, уйдите от меня теперь же, п<отому> ч<то> это ненужное страданье для обоих.

Напишите поскорее.

Люба

---

[1] См. письмо Л. Гуревич от 5 окт. 1887 г. — п. 6.

[2] Один из устойчивых мотивов лирики Минского, см.: «Во сне и наяву» («Погас огонь небесный Прометея!..»), впервые: Слово. 1879. № 12. С. 63—64; «Прометей» («К скале прикованный, за долгий ряд веков...»), впервые: Вестник Европы. 1879. № 4. С. 765; «Конца земной борьбы нам видеть не дано...», впервые: Там же. 1895. № 10. С. 721 (ср.: «Добудь святой огонь! Сам для себя сверши, / Что Прометей свершил для мира!»). Здесь, предположительно, аллюзия на поэму Минского «Счастье Прометея» (*С—87*. С. 121—126).

[3] См. п. 14.

19. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

11 ноября <1887>

Право, не знаю, как быть. Я себя чувствую эти дни, как тяжкий больной после утомительного исследования врачом. Вы так разбередили мою больную, бессильную, страдающую душу, так метко и беспощадно определили мой недуг. И Вы ждете от меня ответа.... Не знаю, дорогая. Как я могу уйти от Вас и как могу остаться? В чем будет заключаться то и другое? В том ли, что я скажу, что, мол, ухожу или останусь? Или в том, что буду продолжать или перестану бывать у Вас? Но ведь все это — внешнее и случайное. Может ли кто нас разлучить или вполне соединить? Никто. Как прикованные к одной тачке, мы осуждены всегда себя чувствовать близкими и разлученными. Вы правы: причина трагедии во мне — и поэтому для Вас она кончится, для меня — никогда[1].

Встречаться или нет — решайте сами. Как грустно, что вы больны, дорогая. Это грустнее всего.

<последняя фраза вымарана. — *М. П.*>

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 15—15 об.

[1] Волынский писал Гуревич по поводу ламентаций Минского: «Я два раза прочел письмо М<инского>. Удивительно, положительно непостижимо: как это можно, так влюбившись, столь скоро остыть?! В общем, мне письмо показалось довольно банальным, несущественным. Цветы <нрзб.>, но это не свежие, душистые, живые цветы, а какие-то поблекшие, стертый символ, от которых несет бессильем и сочиненностью. Есть даже “эффекты”, из которых “сочиненность” просто торчит! И при всем том, несомненно, что Минский “влюблен” был взаправду» (РГАЛИ, ф. 121, оп. 1, ед. хр. 104, л. 153).

20. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

11 ноября 1887

Если любите, если мое письмо не убило любви (оно убило бы ее, если бы любовь была выдуманная), зачем расставаться? Я говорила о разлуке не на словах, но на деле; но кажется, она не нужна.

Я не могу быть свободна завтра, в четверг, п<отому> ч<то> день рожденья моего брата[1] и нам бы не дали говорить; если хотите меня видеть, приходите в концерт в субботу... 4-ая симфония[2] — ясная, светлая и горячая, к<а>к слезы от радости...

Я абонирована на хорах, вдали от эстрады, справа, второе место с краю (со стороны В № 143). Отыщите там меня. Я буду рада.

Люба

<Приписано сверху:> Не давайте Венгеровой[3] моих писем, они возмутят ее до крайности, и она со своей точки зрения будет права, а Вам будет неприятно.

---

[1] *Гуревич-Ильин Григорий Яковлевич* (1870—1947) — младший брат Л. Я. Гуревич; в 1894 г. окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, в 1900 г. — Военно-медицинскую академию, врач-терапевт, в 1903—1906 гг. в заграничной научной командировке (работал в Германии и во Франции); с 1918 по 1924 г. — профессор кафедры факультативной терапии 1-го Московского государственного университета, основатель и первый заведующий кафедрой госпитальной медицины (1924—1930) медицинского факультета Смоленского университета; автор более 200 научных работ.

[2] В субботу 14 нояб. 1887 г. в зале Дворянского собрания состоялось первое в сезоне симфоническое собрание под управлением Л. С. Ауэра; были исполнены: симфония № 4 Бетховена; концерт для фортепьяно с оркестром № 4 Рубинштейна, вступление к «Парсифалю» Вагнера, концерт для скрипки с оркестром № 1 Ве-

нявского; Увертюра к драме Шекспира «Ромео и Джульетта» Чайковского (Новости и Биржевая газета. 1887. 12 нояб. № 311. С. 3).

[3] См. прим. 4 к вступ. статье.

21. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

12 ноября <18>87 г.[1]

Зачем Вы написали Скабичевскому, да еще в таком искреннем и мягком тоне?[2] Теперь он корчит из себя мученика — героя, возвещающего горькую правду миру под выстрелами обиженных им пигмеев! Разве Вы не понимаете, что, раз такой человек стал на ходули, он уже не сойдет с них и объясняться с ним по-*человечески* нельзя. Это была ужасная психологическая ошибка с Вашей стороны, и мне досадно на Вас за это. У Вас есть одно маленькое стихотворение «Всякому»[3], весьма верно выражающее печальную житейскую истину. Зачем же Вы сами изменили ему и будучи ранены Скабичевским (чего я тоже не понимаю! Неужели Вы, глядя на него сверху вниз, нисколько не дорожа его суждением, — все-таки могли «огорчиться» его словами) — зачем Вы снизошли до объяснения с ним и обнаружили свою рану! И потом Вы взяли такой неосторожный тон в письме: Скабич<евский> виноват не тем, что употребляет слово, огорчающее Вас в качестве «человека, живущего сердцем», а тем, что подходит с глупой *предвзятой* меркой к произведениям современных поэтов, с пошлой тенденцией о «литературном времени»[4].

Не обращайте на него внимания, предоставьте ему прохаживаться на ходулях и декларировать à la скверные немецкие актеры о заряжении пушки его персоной. Это только комично и всем людям, мнением которых Вы б еще могли дорожить, Скабичевский не может не показаться смешным и нелепым. В этом фельетоне он уже так явно, *для всех* явно, хватил через край! Оставьте его в этом дурацком положении, с разинутым для декламации ртом: он конечно ждет еще письма от Вас, ждет к<а>к радость, к<а>к повода еще раз прогуляться по столбцам «Новостей» в этой прекрасной мантии!...

Пришлите мне, пожалуйста, Вашу книгу[5]; я обещала многим дать ее... Не судите о мнении публики по словам Скабичевского: из публики всякий, достойный называться человеком, много перерос г<оспо>на «рецензента». Нет, довольно о нем, его и его статьи надо предать забвенью, сейчас я изжарю его статью в печке, чтоб она никому не попадалась на глаза.

Ведь Вы не будете отвечать ему и даже обращать на него внимания? Скажите, меня это волнует.

Люба

[1] Дата вписана позднее, карандашом, рукой Минского.

[2] Речь идет об открытом письме Минского к Скабичевскому в ответ на его рецензию (полный текст: РО ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, ед. хр. 136, л. 1—2), фрагмент письма Скабичевский использовал во второй статье: Литературная хроника: Открытое письмо г. Минского ко мне и мое с ним объяснение по поводу его // Новости и Биржевая газета. 1887. 12 нояб. № 311. С. 2.

[3] «Всякому» (1886), впервые: *С—1887*. С. 177; *БП*. С. 151:

В поединке с судьбой, на житейской арене,
Не забудь, что стоишь на виду у друзей.
Это — зрители битвы твоей,
Ты для них — гладиатор на сцене.

И поэтому, раненный в храбрую грудь,
Обнаружить не смей свою боль и тревогу.
А смертелен удар, — не забудь
Завернуться красивее в тогу!

[4] Гуревич имеет в виду основной мотив статьи Скабичевского: «Наша эпоха не есть эпоха крупных и громких событий и великих людей. Наша эпоха скромная, тихая, воды не замутящая, а главное дело — все в ней, на что ни взгляните, до последней степени миниатюрно, точно как будто это настоящая действительность: в миниатюрных домиках копошатся маленькие козявочки, воображающие, что они представляют собой как есть настоящее человечество, миниатюрные бюрократики, миниатюрные прокурорчики, миниатюрные публицистики, миниатюрные поэтики, миниатюрные критики. <...> Да не посетует на меня г. Минский, если и я, микроскопический фельетонист нашего лилипутского поколения, и на него буду смотреть не как на настоящего поэта, какие и на Западе, и у нас бывали в иные времена, а как на миниатюрного поэта в общем уровне нашего века» (Новости и Биржевая газета. 1887. 5 нояб. № 304. С. 2).

[5] Т. е. книгу Н. Минского «Стихотворения», 1887 г.

22. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

13 ноября <18>87 г.

Совет Ваш получил я сегодня, когда ответ Скаб<ическому> уже был отправлен[1]. Вижу сам, что вел себя дурацки, — несчастная привычка поступать <?> по первому движению! И знаете, откуда это происходит? Из уверенности, что все в жизни такой вздор, что думать не стоит. Как захотелось, так и поступишь. И часто мне приходится смиряться <?>. Читали Вы вчерашний «Гражданин»?[2]

Все вздор, кроме Вас и мысли к Вам. Мысленно можно к Вам приходить и прижать Вас к сердцу? Можно и в <нрзб.>, я это делаю, дорогая, любимая.

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 14.

[1] Речь идет о втором письме Минского к Скабичевскому, 13 нояб. 1887 г. он ответил ему на незаслуженный упрек: «Перед Вами лежит книга, от первого до последнего слова проникнутая известными политическими идеалами, а Вы с каким-

то слепым упорством твердите свое, потому что я держусь пушкинской традиции во взглядах на назначение поэта» и т. д. (РО ИРЛИ, ф. 282, оп. 2, ед. хр. 136, л. 3).

[2] 12 ноября в «Литературном обозрении» правоохранительной газеты «Гражданин» кн. В. П. Мещерского появилась рецензия на книгу Минского; по мнению рецензента, весь сборник «есть только тенденциозная брань на действительность, на Россию, “стихотворная прокламация”. <...> Он не понимает русского народа и относится к нему с глумлением. <...> Это пишет космополит; раб заученных теорий и личных страстей. <...> Нет, здесь не может быть и речи о законах искусства потому уже, что здесь нет искусства, нет поэзии. <...> Минский — не поэт, его стихи не есть произведение искусства» (Гражданин. 1887. 12 нояб. № 43. С. 3: подпись: *Кр.*).

23. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

Воскресенье 15 ноября 1887
СПб.

Мы вчера не кончили разговора, и я буду его продолжать.

Я вчера сказала, что мы диаметрально противоположные люди несмотря на то, что вопросы, составляющие суть жизни, поставлены у обоих одинаково. О нашем сходстве вообще не стоит говорить: оно достаточно доказано уже тем, что я безусловно во всем понимаю Вас. Но теперь — о наших различиях. Постарайтесь понять меня не узко, не шаблонно, иначе выйдет Бог знает что.

Разница в том, что Вы все-таки нелюбящая натура, а я любящая и преданная. Постараюсь объяснить, что я хочу сказать этим. — Я ведь Вам говорила, что совершенно разделяю Вашу теорию о людях как о символах. Любовь полная, совершенная, единственная, настоящая (не знаю, как еще назвать; все выходит не то, что хочу сказать) — эта любовь конечно есть любовь к символу. Человек без любви к высокому, непостижимому, проявляющейся для людей только в символах, — не настоящий человек, и в настоящей любви элемент высокого, божественного должен стоять на первом плане. Экстаз и страсть — два необходимых полюса такой любви, охватывающей все человеческое существо, одновременно духовное и материальное.

Может быть, я дурно выражаюсь — это как-то грубо в моих словах, но я уверена, что, говоря о любви, мы совершенно понимаем друг друга, думаем и чувствуем совершенно одно и то же. И такая любовь мож<ет> быть только одна. Но кроме любви к внешнему как неземному (не умею выражаться, все выходит гораздо грубее, чем я хочу сказать!) есть еще чисто человеческая любовь, любящая независимо от идеи, которую символизирует известный человек. И в чем бы ни была ее метафизическая сущность, она есть факт, с которым надо считаться, она есть деятельная сила, дающая себя живо чувствовать. Я не умею связать с понятием о любви к символам то чувство, которое заставляет меня страдать чужим страданием и радоваться радостью людей, которых я называю сама ничтожными, слабыми, порочными.

Объясните мне из любви к символам, что заставляет меня тосковать и тревожиться о судьбе людей, которые каж<утся> мне только жалкими. Объясните мне то чувство, которое при виде человека, которого я сама признаю бессильным, ничтожным и неспособным даже любить (я еще на днях высказала это прямо одной из женщин, называющих меня своим единственным другом) — объясните мне чувство, которое заставляет меня страдать до слез в ту минуту, когда сама я высказываю жесткую истину, объясните, почему мне хочется схватить на руки этого человека, обвиться вокруг него всей своей душой, согреть его своим жаром, дать ему часть своих сил, сделать все, все, все, чтоб ему легче и теплее жилось на свете... И это не слова. Моя любовь ко всем бесчисленным любимым мной людям всегда была активной, всегда была живой силой; это я знаю, это я имею право сказать. Да и наконец, за что же нибудь любят меня люди, которые приходят рассказывать мне вещи, которых не решались назвать самим себе. Ни порок — гадкий и грязный, ни бессилие, — ничто не отталкивает меня; это тоже не фраза; я говорю Вам о себе только то, что имею право говорить... Объясните мне эту любовь из любви к символам прекрасного.

Или объясните мне то, что связывает меня с друзьями. Я прежде всего люблю их, жажду их видеть, отзываюсь на каждое страданье так, что иногда... глупо даже, иногда каж<ется> больше, чем сам человек страдает! И радость их делается моей радостью, их успех моим успехом. В мире, где люди дейст<ительно> являются «соперниками на ненавистном пире» — какая сила, кроме могучей силы любви, может превратить зависть в доброжелательство? Я зависть превращала в доброжелательство, зависти нет места в моем сердце. И только потому, что я люблю. И потом, в отношении к друзьям, где любовь стремится стать наиболее полной и стать в то же время и любовью к символу прекрасного, какая сила, кроме силы любви, может заставить нас упорно и пытливо вникать в любимое существо, улавливать его сущность, радуясь всему прекрасному, к<а>к драгоценнейшей находке. Люди — обыкновенные — так спутаны в своей внутр<енней> жизни, так противоречат себе на словах и на деле и в чувствах, так не умеют высказываться, так привыкли прятать свою святыню от недоброжелательных взоров окружающих, что найти ее трудно; и только сердце любящее и преданное сумеет найти путь к этой святыне, открыть в душе друга задавленные ростки прекрасного, указать их ему самому и, согревая его жаром своей любви, дать ему силы поднять голову перед самим собой...

Друг мой, ведь Вы сами все это знаете и писать мож<ет> б<ыть> лишнее, но я хочу напомнить Вам, что не всякая любовь имеет источником любовь к великому и прекрасному, и что любовь в этом обыкновенном смысле есть одна из величайших двигательных сил жизни. И этой любви в Вас недостает. Вы вчера сказали, что терпеть не можете мужчин! Неужели можно *всегда* иметь дело только с мужчинами

и женщинами, и забывать о людях. Такая избитая истина, что мне стыдно повторять ее.

Но теперь вот что еще по поводу любви. Поймите мое отношение к Вам. Экстаза и страсти нет: я Вам писала, почему Вы не можете быть для меня символом того, что одинаково дорого и Вам, и мне. Но поймите, как много есть: поймите, милый, что, быть может, никто в мире не любит Вас так, к<а>к я, п<отому> ч<то> в душе моей неиссякаемый горячий родник любви. Я не сумею передать Вам всех оттенков своего чувства, но если бы Вы умели читать в моей душе, Вам показалось бы на минуту, что Ваша любовь взаимна: люди, менее богатые любовью, назвали бы то, что я чувствую, полнотой любви: так много в ней нежности, бесконечного доверия, бесконечной потребности сделать что-нибудь, чтобы Вам было хорошо... Я начинаю выражаться глупо и по-детски, но... но я не умею выражаться. Вы любите меня иначе, но я не думаю, чтобы Вы любили больше. И как мне хорошо от каждого Вашего ласкового слова! Это может быть только тогда, когда сам любишь нежно и бесконечно горячо.

И когда Вы начинаете говорить, что боитесь любви, я Вас не понимаю и мне тяжело. Вот, что Вы не хотите понять: если б я думала, что Вам лучше уйти от меня, неужели я бы решилась Вас удерживать? Любящее сердце удерживает только тогда, когда чувствует, что способно дать свет и радость. Счастье... этого я не признаю: счастье есть удовлетворенье, а с моей ли вечной тревогой и безумным криком тоски, обращенным к небу, с моей ли натурой искать удовлетворенья или давать его другим!.. Ведь Вы же писали:

— Любовь и скорбь одно и то же,
Но этой скорбью кто скорбел,
Тому всех благ оно дороже[1].

И разве пережить эту скорбь во всей ее полноте, во всей ее жгучей, лучистой красоте не есть лучшее, для чего стоит жить? И этого бояться и отказываться благоразумно от этого источника силы и ясного прозренья на мир? Любовь, настоящая, действительно должна перевернуть все существо человека. Но Вам ли, верящему в своего Прометея, бояться потрясения... Мне кажется, что момент по Евангелию, когда со смертью Христа земля содрогнулась, и камни рассыпались, и могилы разверзлись, и мертвецы вышли из гробов своих — это чудная аллегория для того, что делается в душе человеческой в ту минуту, когда он вырывает свое животное «я» и выходит из пределов самого себя в бесконечной любви к другому: могилы должны раскрыться и все лучшее, что было заложено в душе и что схоронила житейская проза — встанет из недр потрясенного духа. И Прометей сорвет свои оковы....

И когда я говорю Вам: «любите меня, не уходите» — разве Вы не понимаете, что в эту минуту я верю в Вашего Прометея и в Ваши си-

лы, может быть, больше, чем Вы сами. Мож<ет> быть, я ошибаюсь, мож<ет> быть, Вы со своим страхом любви оцениваете себя вернее, чем я... Время покажет. Но только если любовь и ее могучие силы будут для Вас смертельны, Ваш Прометей все равно никогда не освободит себя, и Вам не для чего жить. Ведь Вы согласились со мной, когда я сказала вчера, что не выношу вторых сортов и вторых ролей. А для той роли, к которой Вы стремитесь, надо освободить Прометея...

И когда я говорю Вам: «любите меня, не уходите...» разве Вы не чувствуете в эту минуту, что, не давая «взаимности и счастья», я могу дать столько любви, что и без страсти она будет равна по силе Вашей. Если Вы не верите, то только потому, что недостаточно знаете меня. А я себя знаю.

И еще вот что: Вас смущает моя фраза о «страсти, кот<орая> пугает меня». Поймите, к<а>к просто то, что я хотела сказать: страсть — ну в узком, самом узком смысле, — пугает меня, п<отому> ч<то> я не знаю, что мне делать с ней. На любовь я отвечаю и, следовательно, удовлетворяю ее, а страсть остается, как темная сила, электрическая сила, в ответ на которую я ничего не могу дать, и которая причиняет ч<е>л<ове>ку страданье. И потому — разве не естественно сказать человеку, чтоб он постарался не разжигать ее в себе, не подходя близко. Другая не сказала бы Вам этого, п<отому> ч<то> это «неделикатно», но я бросаю раз навсегда все условное и говорю прямо все, что чувствую.

---

[1] Цитата из поэмы Н. Минского «Гефсиманская ночь» (1884); впервые: Пушкинский сборник. СПб., 1899. С. 34—43. Подробно о допечатной истории и публикации поэмы см. комм. С. В. Сапожкова: *БП*. С. 369—375.

24. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

<Ноябрь 1887 г.>[1]

Я кажусь себе таким за то, что я не тот человек, на которого Вы могли бы молиться. Но Я бы казался себе достойным презренья, если бы согласился быть временным объектом Вашей любви, до тех пор пока не явится тот, настоящий человек. Вы предлагаете мне нечто унизительное до нелепости! Не принимаю деления любви на любовь и страсть. Слова: «я буду вас любить как сестра» — внушают мне непреодолимое отвращение. Я сам ищу любви чистой и возвышенной. Но табель о рангах в любви вещь нелепая и безнравственная. Просто любимый человек и человек, на которого можно молиться! Точь-в-точь статский советник и действительный статский советник!

Если я буду умирать от страсти к Вам, я все-таки не унижу своего человеческого достоинства!

Полюбить всецело друг друга, чтоб вместе любить всех — или пусть каждый из нас идет своей дорогой.

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 7—7 об.

[1] Датируется по содержанию.

25. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

16 ноября 1887
СПб.

Я думала, что Вы придете сегодня, и ждала, поэтому не отправила письмо, которое написала вчера. Почему Вы не пришли? Уж не потому ли что Вам показалось «неудобно» придти так скоро после субботы?.. Если так, то это позор! Между проч<им>, — не приняли ли в субботу грустно-усталое выражение лица моей Матери[1] за выражение чего-ниб<удь> относящегося к Вам? Это было бы беспредельно-дико и доказывало бы, что Вы плохой физиогномист; но т<ак> к<ак> в субботу по дороге Вы гов<орили> что-то в этом роде, то у меня и теперь закралось предположение, может быть, неверное. Итак — вопрос только в том: не пришли Вы из-за причин внешних или внутренних?.. Если из-за внешних, то во 1) — это оч<ень> позорно, а 2) приходите в среду, ибо в четверг я иду в театр.

Написанное вчера, бесконечное по объему и все-таки не оконченное письмо, прилагаю. — Если не хотите приходить в среду — по каким бы то ни было причинам (т. е. внутренним. О внешних стыдно и говорить), напишите завтра. Вообще — отвечайте завтра же: мне надо распорядиться вечером среды вовремя.

Пришлите «Кассандру»[2].

Сейчас писала Заленской[3] и переписала для нее Ваше «Как сон пройдут дела...»[4]. Люблю эту вещь.

Люба

---

[1] *Гуревич Любовь Ивановна* (урожд. Ильина; 1845—1922) — мать Л. Я. Гуревич.

[2] В библиографии Н. Минского текст с таким заглавием не зафиксирован, см: *Сапожков С. В.* Библиография Н. М. Минского. Часть 1 (Литературный факт. 2019. № 1 (19). С 382—406); Части 2, 3 (Там же. 2021. № 2 (20). С. 333—370). Возможно, речь идет о замысле Минского заняться переводом «Илиады» Гомера (осуществлен в 1896 г.), в которой упоминается троянская царевна Кассандра — самая красивая дочь царя Приама, предсказавшая гибель Трои.

[3] Неустановленное лицо.

[4] Стихотворение Н. Минского «Как сон пройдут дела и помыслы людей...» (1887); впервые: *С—1887*. С. 189.

26. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Между 16 и 21 ноября 1887>[1]

Ваш приход в среду в связи с Вашим молчанием до и после среды сбивает меня с толку. Если бы Вы не говорили в субботу, что при отправлении ко мне «каждый раз должны преодолеть известное сопротивление», я бы скромно подождала, пока Вы не придете сами. Но ввиду дикой фантазии, сложившейся в Вашей голове на этот счет, считаю уместным «пригласить» Вас. Если хотите, приходите завтра, в субботу я буду дома в $8^1/_4$. Мне хочется поговорить с Вами; раз сблизившись с человеком, я ощущаю живейшую потребность сравнивать его с собой во всех его взглядах на весь Божий мир. Не знаю, что со мной эти дни: тоска безумная, гложущая, тревожная, с резкой болью в груди — болью, происходящей исключительно от этого настроенья. После периода некоторой оторванности от людей и их страданий, после нескольких дней какого-то заоблачного настроенья и нечеловечески-возвышенных грез, я опять свалилась на землю, опять глаза широко раскрыты на людское страданье и ничтожество, я опять Кассандра... Чувствовать свое бессилие против судьбы, видеть издалека, к<а>к плетутся нити судьбы, которая захватит окружающих, дорогих, милых, знать, что сами они плетут себе эти нити, эту сеть, «не ведая, что творят», и сознавать, что органическая неизбежность явлений, создавшая их такими, каковы они есть,— сильнее моего предостерегающего голоса... ужасная тоска! Любить людей, видеть, к<а>к они страдают от своего бессилия любить, как они замерзают от недостатка внутреннего жара, и знать, что мой огонь не отогреет их, потому что они даже не удерживают в себе этой теплоты! Чувствовать себя несмотря ни на что счастливейшим человеком из всех людей и сознавать свое бессилие сообщить другим часть своих сил, своего счастья! На что дана мне Богом моя способность любви, если эта любовь бессильна дать положительное содержание чьей-нибудь жизни. Один из друзей моих сказал мне раз, что моя роль — «будить в людях святое беспокойство»... Есть на свете несколько людей, в которых я разбудила это беспокойство, которым сообщила свою тревогу. Но бывают ужасные минуты, когда я вижу, что эти люди по природе бессильны, оторвавшись от бессознательно-органической жизни, не умеют подняться на ту высоту, которая позволяет человеку называть себя счастливым вопреки тоске и страданью. Вызвать жажду в человеке, мозг которого не способен даже создать себе мираж — это ужасно. А я совершила на своем веку несколько таких преступлений, и в минуты, когда я вижу результаты дел своих, меня охватывает тоска беспредельная. Я напоминаю себе в эту минуту заклинателя, который вызвал бы из могил бледные тени мертвецов и не имеет способности снова упокоить души... А вина моя состоит в том, что я все предполагаю в людях силу и любовь там, где ее нет, говорю о «зарытых в зем-

лю талантах» там, где их не дано от Бога! О, непростительная ошибка еще детского доверчивого сердца! Скоро ли я буду и сердцем достойна своего «ясновиденья» и не позволю розовым грезам надежды заслонять от меня резкий холодный свет истины!...

Если не придете в субботу, извините.

Люба.

---

[1] Датируется по содержанию.

27. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

Ночью, 21 ноября 1887[1]

Тут нечего не понимать, но у нас на это разные точки зрения: когда любят действительно, то не рассуждают — опасно это или нет для Вашего благополучия и обидно ли это для самолюбия, гордости, назовите, к<а>к хотите. Когда любят, не рассуждают, а любят, страдают, топчут в прах свою гордость, как ненужную тряпку, к<а>к пошлую мишуру, страдают до безумия и, страдая, одновременно проклинают и благословляют свое страданье... Вы никого не любили и не способны любить; — я вижу; а я говорю о любви, потому что знаю, что такое любовь. Вы сказали, что я не пошла бы в Самарканд ухаживать за любимым человеком; не знаю, я не умею решать за себя психологические задачи, п<отому> ч<то> действую обыкновенно непосредственно, к<а>к подсказывает чувство, и не знаю, право, чтобы оно мне подсказало. Но я знаю, что, когда я любила, я не думала о себе и своей гордости, и в чувстве моем была одна гордость: торжествующая гордость бесконечной любви...

Вы этого никогда не испытали, милый, и потому не имеете права рассуждать и говорить о любви к кому бы то ни было. И меня Вы не любите не потому, что Вы ошиблись во мне, и я не та, которой Вы так долго искали (простите за гордую фразу: я именно та, я знаю, что имею право сказать это), а потому что Вы «излюбились» раньше по частям, по мелочам, и на меня не остается силы *нерассуждающей* любви.

Вы стали рассуждать, и я тоже — в ответ, рассуждать о том, как это бывает и должно быть. Это скучно и ничтожно, конечно, сравнительно с любовью нерассуждающей, но Вы стали рассуждать, а не я. Если бы Вы были способны на нерассуждающую любовь... не стану говорить о том, что «могло бы быть, если бы»... Но сила любви есть бесконечно-огромная сила; и я поверила бы в Вашу силу; а теперь Вы кажетесь мне слабым и жалким... Вы стали рассуждать с первого шага, п<отому> ч<то> с первого шага стали говорить о невозможности бесконечной любви при отсутствии взаимности, со второго шага говорили об «уничтожении своего самолюбия», и пошло оно в этом жалком тоне. Так не любят!.. Вы не знаете, как можно любить, как бесконеч-

но, бездонно можно любить, и никогда не узнаете, потому что сами никого так не полюбите и не увидите на другом. Я знаю, что во мне есть эта способность любить, если бы нашелся человек, сумевший бы вызвать во мне *экстаз*; без экстаза у таких людей, как я, не может быть страсти, но экстаз охватывает все существо безраздельно. Не знаю, найдется ли такой человек на белом свете; любить по мелочам я не сумею, и мож<ет> быть потому больше никого не буду любить. Но *такой* человек должен быть могуч и велик. Вы не знаете меня с этой стороны, но я сама сильный человек, и ищу силы, и презираю слабость. И если бы я встретила такого человека, — о, я никогда бы не стала ничего ждать, ничего выжидать, ничего требовать, я любила бы...

Вы не любите, вот и все; но «трагедия» не во мне, а в Вас, не обвиняйте же меня в рассудительности: я б не стала рассуждать на Вашем месте. Да и на своем!.. Вы не знаете, что я пережила за короткое прошедшее время; Вы не поверили бы, если бы заглянули в мою душу. Но Вы не умеете этого, а я не буду больше помогать Вам в этом. К чему?...

Будем друзьями и возьмем друг от друга то, что можно.

Люба

Конверт: Его Высокоблагородию

Николаю Максимовичу Минскому.

Pour lire — pas pour porter dans la poche une journée entière! (*фр.*) — Читать не для того, чтобы целый день носить с собой в кармане.

[1] По-видимому, ответ на несохранившееся письмо Н. Минского.

28. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

22 ноября <18>87 г.

Пусть, дорогой друг, будет по-Вашему, мне кажется, Вы несколько ко мне несправедливы. В Вашем письме есть фраза, которая меня оправдывает: «Вы стали рассуждать, и я тоже в ответе, коль это бывает и должно быть».

Будьте справедливы ко мне и согласитесь, что не я первый стал рассуждать. Я обратился к Вам с горячим порывом страстного чувства, и Вы своим ответом заморозили меня. Безумием было бы винить Вас — Вы поступили нехорошо, но, во всяком случае, не я первый стал рассуждать. И если бы Ваш ответ был не такой — то зачем говорить о том, что могло бы быть. Та ночь, когда я писал Вам, больше не повторится — и не по моей вине, хотя и не по Вашей. Итак, мы — друзья. Страстный <нрзб.> наш не удовлетворяет, и каждый из нас будет искать родной души, как искал до сих пор. Что я не тот, которого ищет Ваше сердце, вполне верю. Моя душа уродливая и приземистая, хотя на ней иногда вырастают не совсем простые плоды. Бы-

вают души стройные и прекрасные, на которых растут желуди. Но зато встречается душа прекрасная и сладостная, как пальма, как пальма среди пустыни. Что мне сказать о Вас? Как друг, я бы Вам мог многое сказать. Но я решил раз навсегда: никогда не рассуждать с Вами о Вас. Никакими доводами, никаким самовыражением <?>, никаким самоуничижением Вы меня не убедите. Докажите мне своею жизнью, — понимаете, жизнью, а не письмами и дневниками, — докажите, что Вы не намек, не воспоминание, не портрет, а мысль, образ, тень, но не рассуждайте со мною об этом. Знаю, знаю, что Вы подумаете и что скажете. Самолюбие наше — это та мерзкая медуза, у которой сколько членов ни отрывай, они сейчас же вырастают опять в прежнем виде. Это raison de plus[1] безмерности <?> рассуждений.

И так — еще раз — будем друзьями.

Во вторник у Вас едва ли буду. Жду одиночества. Хочу не выходить из дома много дней. Как-то уж очень безотрадно. Сердце доводами не успокоилось. Вы — другое дело. Вы так хорошо рассуждаете о чувствах...

Ты с чувством беседы о чувствах вела,
С душой о душе рассуждала —
И цели достигла: «Любовь» умерла
И «дружбой бессмертною» стала![2]

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 12—13.

[1] raison de plus (*фр.*) — еще один повод.
[2] Эпиграмма Н. Минского.

29. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

23-го ноября <1887>

Я вполне понимаю Вас с Вашей точки зрения и нахожу, что теперь «все обстоит благополучно». Настоящего чувства к Вам с моей стороны не могло быть по двум причинам: 1) п<отому> ч<то> Вы не тот, не настоящий человек; это Вы уже знаете, а 2) п<отому> ч<то> во мне еще жив образ того, первого человека, хотя я больше никогда не увижу его[1]. Не знаю, какой великан должен придти, чтоб вытеснить его из души моей. Я пишу об этом *теперь*, п<отому> ч<то> сейчас, стоя на панихиде и задаваясь вопросом, чья смерть заставила бы меня потерять почву под ногами, заметила совершенно неожиданно, что его. Пишу об этом теперь, чтоб, так сказать, закончить прошедший период наших отношений и прибавить вслух то, что добавилось сегодня в моей душе. Над этим — AMEN.

Теперь вот что: я думаю, что нам будет хорошо, т<ак> сказать, «отдохнуть друг от друга» в течение нескольких недель. Я что-то не

очень верю в Вашу дружбу, т. е. Вашу потребность в ней. Если она имеется, то не пройдет через несколько недель, и Вы придете по собственной инициативе к человеку, который будет рад Вам тогда. А если это только «так», то... <несколько слов вымарано. — *М. П.*>

Поэтому пока прощайте.

Люба

Почему Вы говорите о самолюбии? Вы нисколько не задели мне его; Вы совершенно правы: ничто не обязывает Вас верить *словам* моим. Посмотрите на меня в жизни, в будущем, тогда судите. У меня здоровое самолюбие, и тут ему нечего огорчаться.

<Приписано сверху на первом листе:> P. S. (24-го). Вчера Вы сделали страшное преступление по отношению ко мне и еще одному ч<е>л<ове>ку[2]. Вы знаете, о ком я говорю. Разве можно говорить такие вещи, не будучи уверенным в том, что говоришь! Вы заставили меня пережить очень тяжелую минуту, а его тем более. Это преступленье. Не говорите ему об этой приписке.

---

[1] Неустановленное лицо.

[2] Подразумевается Волынский. 23 нояб. 1887 г. он писал Гуревич: «Зачем Вы настаиваете, чтоб я Вам сказал то, что уже ясно как белый день? Сегодня М<инский> говорил мне, что мы созданы друг для друга, и я опроверг его. Опроверг потому, что мне *хочется* жить ровно для моих книг, аскетом, словом, так, как я живу уже не первый год. Но он приводил мне некоторые доказательства, против которых бессилен мой рассудок. Я замял разговор и пошел домой, убежденный, что застану Ваше письмо. Вы требуете от меня искренности, — но разве уж не все ясно, разве я не сумел прочесть в Ваших письмах того, что инстинктивно искал в них уже с самого начала нашей переписки? <...> В Вас столько качеств, положительных сторон, что полюбить Вас, Люба, так естественно и просто. Но мне не верится, чтобы я мог значить для Вас то же, что Вы для меня. <...> Мне в настоящую минуту хотелось бы не писать, а видеть Вас, смотреть Вам в глаза, которые у Вас всегда так ясны и прозрачны, слушать Вас с вниманием, напряженным до высшей степени и воспламененным Любовью, глубокою и горячею. Вы хотели правду — вот она вся, как есть, без малейших прикрас. <...> Милая девушка, как это будет хорошо, если мое чувство меня не обмануло! Вы знаете, я мечтаю о любви, полной смысла и ума, натруженною серьезнейшими занятиями. Кто знает, быть может М<инский> прав, и мы в самом деле постоянно шли навстречу друг другу...» (РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 104, л. 10).

30. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

28 ноября <18>87 г.
СПб.

Если Вам что-нибудь кажется неясным во всем, что я говорила по поводу Ф<лексера> и Вашего разговора с ним, спросите у него. Мне

бы не хотелось вызывать какие-нибудь пятна недоразумений в Ваших дружеских отношениях с ним, не хотелось бы быть причиной каких-нибудь недомолвок и скрытого неудовольствия. Мне показалось, судя по его словам, что Вы дали ему мысль о возможности любви к нему с моей стороны, что совершенно невозможно[1]; — под этим впечатлением я сделала свою приписку, м<ожет> б<ыть> нелепую. Потом еще он говорил со мной в четверг и стал говорить о моей склонности в данном случае «пожалеть огромной жалостью» и проч. Я сказала: «Что это Вы — точно Минский говорите! Это — вздор и соверш<енно> в его духе». Он засмеялся и сказал: «да, это, действительно, его слова»... Значит, Вы действительно что-то говорили на этот счет. — Но в сущности все это пустяки и нимало больше не тревожит меня. Ф<лексер> удивительно благородный человек, замечательный человек; Ваши слова, чтобы Вы ни говорили обо мне, — ничего не изменят в его отношении ко мне, и я горжусь этим отношением, как редкой, драгоценной находкой...

Какая симфония![2] Музыка оторвала меня от всяких тяжелых мыслей и унесла в море весенних грез и гроз. Для меня весна и ее поэзия, конечно, но душа так полна жизни и силы, что и это печалит... Я слушала музыку и думала о Вас. Весна — и Вы! Такая противоположность..... И однако я думала о весне, и о Вас.

Преданная Вам Люба

---

[1] В это время между Гуревич и Волынским установились отношения, принявшие по обоюдному согласию форму «белого брака» (см. дневниковые записки Гуревич: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 28, 32; письма к ней Волынского: Там же, ед. хр. 104—105).

[2] 28 нояб. 1887 г. в зале Дворянского собрания состоялся второй симфонический концерт Императорского русского музыкального общества, дирижер Л. С. Ауэр (программа концерта в газете не сообщалась) (см.: Гражданин. 1887. 26 нояб. № 57. С. 4).

31. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

23 февр<аля> <18>88 г.
Б<ольшая> Итальян<ская> д. 15 кв. 17

Любовь Яковлевна,

Прочтите мою драму — вернее, хронику (написана в 1883 г.)[1] и сообщите свое мнение письменно или через г. Флексера.

Это — оттиск из последней книжки «Вестника»[2].

Преданный Вам Н. Виленкин

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 11.

[1] Пьеса в стихах Н. Минского «Осада Тульчина: историческая драма из эпохи Б. Хмельницкого в 3 д., с прологом», опубл.: Восход. 1888. Кн. 1—2. С. 3—82.

[2] Предположительно — оттиск «Дневника читателя» Н. К. Михайловского (под псевд.: *Н. М.*) из январской книжки «Вестника Европы» за 1888 г. (№ 1. Отд. II. С. 120—140), содержавший отклик на сборник Минского (1887) и язвительную критику рецензии Скабичевского (с. 127—134); см. п. 14 и прим. к нему.

32. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

12 мая <?> <18>88

Любовь Яковлевна,

Мне стыдно перед Вами бесконечно. Причиной — моя несчастная забывчивость и еще кое-что. Получив от Вас письма, я отложил их в сторону, а потом через месяц хватился, прочел их, хотел Вам написать, да было тяжело писать то, что я хотел. Потом я много раз брался за перо, уже раз изготовил письмо, да изорвал его. Но нужно же, наконец, написать. Вы, конечно, догадываетесь, о чем я буду просить. Прочитав свои письма кряду, я ужаснулся. Как могло случиться, что я, зная себя, писал Вам то, что писал. Вы, в самом деле, заворожили меня на время, и я знаю, чем: надеждой, что Вы меня поймете, что Вы разглядите тот новый мир, который все созидается в моей душе да все никак не выходит из состояния хаоса, что Вы своим ободрением и верой в меня подкрепите мою слабую волю. Этого не случилось, и Вы стали для меня одной из многих, частью толпы, тем, чем я был для Вас с самого начала. Может быть, то, что я пишу теперь, достойно улыбки сожаления. Человек, который носит в душе новый мир, не ищет сочувствия у женщины. Все мы самообольщаемся, больны непомерным самолюбием. Но что делать. Когда люди заблудились в лесу, всякий ищет выхода и надеется, что найдет его.

Но я уклонился в сторону, оседлал своего конька. Любовь Яковлевна, возвратите мне мое слово и извольте сжечь письма! К чему они Вам? Зачем Вам хранить мертвые останки наших странных и грустных отношений?[1] <Нрзб.> Вы — всепомнящая. Но подумайте, быть может, что моя гордость страдает. Хотя бы и так. Но не только гордость, а вся моя душа страдает при мысли, что я писал Вам то, чего никому в жизни не писал и не говорил, а Вы меня не поняли.

Да, хочу остаться при самообмане, что Вы меня не поняли, и предоставляю Вам утешаться правдой, что я сам себя не понимаю.

Если Вы согласитесь на просьбу, Вы, конечно, имеете право просить о возвращении Ваших писем. Но это было бы местью, на что Вы не способны. Я хочу Ваши сохранить. Ведь Вам в них нечего каяться, как я раскаиваюсь в своих. А я бы много дал, чтоб стереть в памяти ту ночь, когда я горел безумной надеждой и думал, что обрел человека.

Нет, видно, суждено мне одиночество. Надо примириться с этим крестом, тем более что полжизни прожито[2]. А Вам желаю счастия, со-

чувствия и, главное, быть понятой <?> и оцененной тем, кто Вас достоин.

Н. Виленкин

---

[1] По поводу этого письма Волынский писал Гуревич: «Минский... что сказать о М<инском>? Письмо его поистине жалко, потому что в сущности, оно так бессильно, что рука не поднимается написать ему слово сильное и твердое. Но беда в том, что в его бессилии лежит задаток чего-то растлевающего и постыдного. <...> Я нахожу, что ты могла бы придать своему письму несколько дидактический тон: ведь если подумать, поведение М<инского> относительно тебя <...> было и легкомысленно, и <нрзб.>, смешно и нелепо. Конечно, надо ему предоставить право сжечь свои письма, надо оставить ему твои — но маленький урок, некоторое назидание тут все-таки не бесполезно. У Минского натура по существу мягкая, пластичная — и слово правды подействует на него благотворно, в этом сомневаться нельзя. Принеси мне, Люба, письмо, которое напишешь ему» (РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 104, л. 156—157).

[2] Вероятно, речь идет о неудавшейся семейной жизни. В 1886 г. Минский развелся со своей первой женой — писательницей *Юлией Безродной* (наст. имя — Юлия Ивановна Яковлева; 1858—1910); с которой состоял в гражданском браке с 1877 г.; в 1882 г. после принятия православия венчался.

33. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

17 мая <18>88

О, я совсем забыл формальную сторону дела. Возвращаю Вам письма, которые я выманил <?> под честными словами.

Н. Виленкин

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 8.

34. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<17 мая 1888>[1]

Я хотела было ответить Вам только шуткой: вот, мол, какой стыд, позор, скандал! Человек выманивает свои письма под честным словом возвратить их, а потом выпрашивает назад свою расписку, да еще думает видеть в этом лекарство для своей гордости!.. Вот так логика... Но шутка не передала бы того чувства, которое возбудило во мне чтение Вашего письма. Простите за резкость, но, право, я не ожидала от Вас такого ребячества. Допустим даже, что гордость Ваша страдает, что для Вас позорно, что кто-то так не понял или, наоборот, слишком хорошо понял Вас, но неужели же Вы думаете, что сожженьем писем можно изъять этот печальный инцидент из самой жизни!

Мне, разумеется, ничего не стоит дать Вам это удовлетворение; даже дневник мой не пострадает от этого: страницы, оставшиеся пустыми после того, к<а>к я отпорола от них для Вас эти письма, мне ничего не стоило бы заполнить точнейшей копией с них: моя память — идеальный негатив. Но я не верю глазам своим, читая, что взрослый человек надеется успокоить свою гордость столь невинным аута-дафе почтовых бумажек!.. Впрочем, Вы лучше должны понимать, что может быть для Вас успокоеньем, а с моей стороны за этим, повторяю, дело не станет: даю Вам полное разрешение придумать для этих писем любую казнь, как бы жестока ни была она!!!

В заключение скажу, — оставив в стороне эти трагикомические мотивы, — что я была бы искренно, от души рада, если бы мне пришлось когда-нибудь убедиться, что Ваши поэтические замыслы нашли живую форму для своего выражения: сердечно желаю Вам всего, что может сколько-нибудь способствовать этому. Немножко зная меня, Вы не можете сомневаться в искренности и горячности этого пожелания... Затем — прощайте.

Л. Гуревич

17 мая 1888 г.

---

[1] Датируется по содержанию.

35. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

21 декабря <18>89 г. СПб.

Николай Максимович,

я только что получила Вашу книгу[1], еще не начинала читать ее и пишу только для того, чтоб поблагодарить вас за память. Если бы вы желали слышать мое мнение о вашем детище, я с удовольствием изложу вам его по прочтении книги устно или письменно. Может быть, вы соберетесь как-нибудь зайти? Я пишу эти несколько слов только для того, чтобы не оставлять невыраженным свежего чувства благодарности, которое вырывается во мне вашим вниманием. Отчет о впечатлении — это уже совсем другое дело; с ним торопиться и не следует; я не скажу ничего прежде, чем не прочту до конца. Я не хочу быть поспешной и легкомысленной в своем суждении. Я питаю слишком глубокое благоговение к таким темам; самый вопрос, разбираемый вами, слишком глубоко отзывается в моей душе. Впечатление свое я выскажу вам, конечно, с безусловною искренностью[2]. Если вы того желаете — разумеется!..

Засим, до свидания. Жму вашу руку с искренним пожеланием успеха.

Л. Гуревич

Конверт: Здесь
Его Высокоблагородию
Николаю Максимовичу
Виленкину
Малая Итальянская, д. № <оборвано> кв. 19

[1] Имеется в виду книга Н. Минского «При свете совести: мысли и мечты о цели жизни» (СПб.: Семеновская типо-лит. И. Ефрона, 1890. — 1-е изд.).

[2] Отзыв Гуревич о книге Минского неизвестен; отрицательную рецензию с критикой теории меонизма Минского дал А. Волынский (*СВ*. 1890. № 2. С. 101—106), возникшая между ними полемика на отношениях не отразилась; подробно см. статью С. В. Сапожкова «Поэзия и судьба Николая Минского»: *БП*. С. 45—50. Позднее, в письме к Э. И. Мешингу (1898 г.), Гуревич резюмировала свои впечатления следующим образом: «он выпустил книжку под названием “При свете совести” — состоящую из его исповеди — исповеди “самолюбца”, из фантастического, в высшей степени риторично написанного “Сна” — символического характера, и небольшого философского трактата, в котором отразилась философия Канта и отчасти Шопенгауэра, но в отрицательном превращении: на место кантовского ноумена стал *мэон*. В упрощенном виде мысль его состоит в том, что единство несовместимо с множеством и потому Бог, единое абсолютное бытие, желая “уступить место” живому множеству явлений, распался на них. Абсолютное бытие — <...> превратилось в абсолютное небытие. Но в людях сохраняется нечто от уничтожившегося Бога — тоска по идеальному, тоска по тому, что уже *не* существует *даже в трансцендентном смысле слова*...» (Русские Modernen — Зинаида Гиппиус и Николай Минский (из писем Любови Гуревич к Эдгару Мешингу). С. 112).

36. Н. М. Минский, З. А. Венгерова — Л. Я. Гуревич

7 июля <18>91 г.
Бологое

Любовь Яковлевна,

Я бы охотно исполнил Вашу просьбу, если бы мысль о том, что исполнилось 50 лет со дня смерти Лермонтова[1], показалась мне значительной в каком бы то ни было значении. Только для издателей событие это важно и, очевидно, также для... издательниц. Простите за плохую шутку.

Гораздо более волнует меня мысль о том, что Вы, может быть, приедете к нам на недельку-другую. Я тут видел Лозинского[2] и спрашивал его, позволят ли Вам журнальные дела отлучиться на некоторое время из Петербурга. К удовольствию моему, ответ был положительный.

Душевно Ваш
Н. Виленкин

О дне и часе выезда сообщите заблаговременно письмом[3] — почта не совсем аккуратна. Тогда мы встретим Вас на станции, оттуда до имения несколько верст на лошади.

Печ. по: РО ИРЛИ, № 20003, л. 1—2.

[1] В августовской книжке «Северного вестника» были помещены материалы, приуроченные к 50-летию гибели М. Ю. Лермонтова (15 июля 1841 г.); в первом отделе: Стихотворения Лермонтова. Из 20-й тетради Лермонтовского музея. С предисл. И. М. Болдакова. С. 1—10; Стихотворения К. Льдова: «Пушкин и Лермонтов. 1837—1841» («Два вещих гения являются мне часто...»). С. 88—90; «Памяти Лермонтова» («С тех пор два века миновало...»). С. 118; во втором отделе — статья И. М. Болдакова (под псевд.: *К. Тр-н-кий*) — М. Ю. Лермонтов (по поводу пятидесятилетия со дня его кончины). С. 136—147.

[2] *Лозино-Лозинский Михаил Александрович* (*Любич-Ярмолович*; 1865—1921) — юрист; в 1914—1917 гг. пермский губернатор; один из пайщиков «Северного вестника»; редактировал в журнале юридические, экономические и областные материалы; после несогласованной с ним публикации в журнале повести И. Ясинского «Новая жизнь» (*СВ.* 1891. № 11) вышел из редакции (см.: *Куприяновский П. В.* «Оглядываюсь на прошлое...»: журнал «Северный вестник» 1890-х годов и его литературная позиция. С. 33—34); о конфронтации с Гуревич, обострившейся в 1891 г. из-за притязаний Лозинского на место секретаря журнала, см.: *Павлова М. М.* Из воспоминаний Л. Я. Гуревич о журнале «Северный вестник». Статья вторая // Литературный факт. 2021. № 3. С. 121—122; 145.

[3] См. ниже письмо З. А. Венгеровой к Л. Я. Гуревич.

Бологое[1]

Любезная Любовь Яковлевна,

Очень жаль, что не удается пристроить pour le moment перевода моих парижских приятелей. После разговора с Вами я им посоветовала перевести немедленно один из «pasteles» Bourget[2] и прислать в редакцию для пробы. Имеете ли Вы теперь что-нибудь против этого?

Что с Вашим обещанием приехать к нам в Бологое? Здесь прелесть как хорошо, и я была бы очень рада провести с Вами несколько времени. Измените на время Вашим обязанностям и внесите оживляющий элемент в нашу деревенскую жизнь. Надеюсь получить утвердительный ответ и, чтобы придать моей просьбе большей убедительности, предоставляю Бологовскому поэту описывать прелести здешней природы.

Ехать Вам лучше всего 11 час<овым> вечерним поездом. Пожалуйста, сообщите днем раньше об отъезде, чтобы мы могли Вас здесь встретить на станции.

До свидания.

Ваша З. Венгерова

[1] Летом Минский гостил в Бологом на даче Венгеровых. С *Семеном Афанасьевичем Венгеровым* (1855—1920), литературным критиком, историком литературы и библиографом, Минского связывали многолетние дружеские отношения, сложившиеся еще в годы студенчества: оба учились на юридическом факультете С.-Петербургского университета.

[2] *Бурже Поль* (*Bourget Paul*; 1852—1935) — французский романист и критик, в 1890-е гг. пользовался популярностью в России, начиная с 1887 г. его произведения публиковались в «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Мире Божьем», «Северном вестнике» (роман «Женское счастье»: 1890. № 6—12; пер. М. Комаровской), и др. «Pasteles» («Пастели», 1890) и «Nouveaux Pasteles» («Новые пастели») — сборники рассказов П. Бурже (составили том в Собр. соч.: в 10 т. СПб.: Пантелеев, 1901. Т. 5). З. Венгеровой принадлежит статья о Бурже в Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: СПб., 1891. Т. 9. С. 29—30; СПб., 1912. Т. 8. С. 636—639 (Новый энциклопедический словарь). См. ее характеристику: «Б. сделался, по его же собственным словам, “моралистом декадентства”, страстно увлекающимся психологическим анализом, и создал особый род психологического романа, посвященный оранжерейно изысканной психологии общества, пресыщенного культурой» (Т. 8. С. 636); по поводу «Пастелей»: «Последняя книга Бурже “Nouv<eaux> pasteles” заключает несколько рассказов в высшей степени изящных и тонких; особенно поэтичен рассказ “Un Saint” <«Святая»>, где Б. обнаруживает глубокое знание искусства и разных европейских музеев» (Т. 9. С. 30).

37. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
Спб. 189*1* года *Августа 1* дня[1]

P. S. И как это Вам не стыдно было не отдать мне визита!!
O tempora...[2]

Николай Максимович, я пишу Зинаиде Афанасьевне объяснение моего непостоянства: правда, хотела заехать в Бологое — познакомиться поближе с Зинаидой Афанасьевной, но нет возможности при настоящих условиях. Мой отпуск — какие-нибудь десять дней. Работы — всех видов — гибель[3]. Я пристрастилась к этому делу до невероятности: пресловутая женская «преданность» и «самоотречение». Впрочем, мне не приходится отделиться от себя в этом деле, напротив.

За Ваше равнодушие к годовщине Лермонтова[4] мысленно назвала Вас поэтом fin de siècle! Я, признаться, была душевно растрогана 15-ого июля: годовщина еще говорит моему сердцу и моему воображению.... мож<ет> быть по молодости лет. *Всегда* нельзя мысленно становиться лицом к лицу с поэтом и вникать в его образ: жизнь пестра. Тоже ведь и со всяким отсутствующим и покойным. Но в годовщину, в известные сроки — если хотите точно по заказу, но, в сущности, вовсе не по заказу, внимание сосредоточивается на одном чем-нибудь — на образе далекого ч<е>л<ове>ка, и этот образ становится ярок и близок. Вы скажете, что этот образ близок Вам тогда, когда Вы читаете его стихи. Но это неверно. Стихи — чудно хороши *сами по себе*, независимо от образа поэта. *Личное* чувство к поэту редко пробуждается при чтении его произведений. А годовщина — личное празднование, момент мысленного общения с самим поэтом. И чем он дальше

от нас реально, тем это трогательнее. Мож<ет> б<ыть> это во мне по молодости лет, но Вы меня удивили своим рассудочным отношением к годовщине.

Не найдется ли каких-нибудь стихов *вообще* в Вашем Бологовском портфеле? Пришли их нам сюда. Заленились Вы!..

Если читаете Сев<ерный> Вестн<ик>, то не удивляйтесь тому, что в нем по-прежнему так много скуки и хламу: надо скорее спускать, что поплоше, чтобы расчистить дорогу собств<енным> замыслам в ближайшем будущем[5].

Старый знакомый (лучше новых двух!) Л. Гуревич

---

[1] Здесь и далее в печатных датировках вписанный текст выделен курсивом.

[2] O tempora... <o mores> (*лат.*) — О времена... <о нравы>.

[3] Имеется в виду работа в редакции «Северного вестника».

[4] См. письмо Н. Минского от 7 июля 1891 г. — п. 37 и прим. к нему.

[5] Речь идет об освобождении журнала от «балласта»: продукции народников, литераторов народнической ориентации, так называемых «нейтральных» беллетристов (П. Д. Боборыкина, А. А. Лугового, О. Шапир и др.), подробно о борьбе Гуревич и Волынского за направление журнала см.: *Куприяновский П. В.* «Оглядываюсь на прошлое...»: журнал «Северный вестник» 1890-х годов и его литературная позиция. С. 36—41 (гл. 3 «Период самоопределения журнала (1892—1894)»).

38. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
Спб., 189*3* года *Дек<абря> 26* дня

Николай Максимович, у меня сегодня свободный вечер и страшно охота забыть хоть на несколько часов о конторе и редакции, — я утомлена до невозможности. Если Вы можете сегодня же привести англичанку[1], то я буду оч<ень> рада. Если не можете привести ее, но придете сами, тоже буду очень рада. Есть большая потребность видеть людей, с которыми не связаны никакие представления о делах, просьбах, отказах, неудовольствиях и т. п. и т. п.!

Только мне очень стыдно, что я не смогу говорить с англичанкой по-английски — я и читать-то *вслух* не умею, и ничего не понимаю, когда *говорят*: я училась сама. Если она заговорит со мною по-английски, то я покраснею и поглупею. Предупредите ее. Хорошо бы, если бы она согласилась изъясняться по-французски — это было бы для меня всего отраднее. Видеть ее и поговорить с ней весьма желаю, хотя, вероятно, при встрече сконфужусь: совсем одичала от «деловых» сношений с людьми. Только сама с собой и умею разговаривать! А видеть людей хочется.

Ответьте, можете ли быть сегодня?

Уважающая Вас
Л. Гуревич

[1] Неустановленное лицо. Вероятно, знакомая З. А. Венгеровой, после окончания Бестужевских курсов (1887) она несколько лет изучала иностранную литературу за границей: с 1888 по 1893 г. жила в Париже, в 1892—1893 гг. наездами в Лондоне, путешествовала по Европе. Летом 1893 г. Венгерова и Минский вместе осматривали Лондон. См. п. 39 и прим. к нему.

39. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
Спб., 189*3* года *Декабря 27* дня

Многоуважаемый Николай Максимович,

Сегодня, к сожалению, я законтрактована, иду в скучное общество слушать, как будут говорить о либеральных вопросах! Думала было уж не пойти, да не хочу обидеть, и потому — если свободны в среду, пожалуйста, придите с англичанкой. Завтра буду дома только с 10 ч. веч<ера> — для Вас это не поздно, если хотите — приходите поболтать более свободно и просто, чем это возможно с англичанкой, для которой 10 ч., должно быть (не знаю право, европейских обычаев!), это поздно.

Если эта записка застанет Вас дома, пришлите ответ, — каковы Ваши намерения, чтобы я знала, когда мне быть дома. Больно много «визитов» уже у меня накопилось, и во время праздников придется выводить себя в люди: Любовь Яковлевна будет выводить издательницу!

Приятнее было бы попросту поболтать. До свиданья. Принесите, когда придете, портрет Нелли и снимки[1] — если это для Вас не затруднительно.

Л. Гуревич

Конверт:
Николаю Максимовичу
Виленкину
Казанская, д. 5, кв. 36

[1] Вероятно, имеются в виду фотографии актрисы, которой Минский посвятил стихотворение «Нелли. (Надпись к портрету)» («Ее — жемчужину Океаниды знойной...»); впервые: *СВ*. 1894. № 1. С. 212. В сентябре 1893 г. поэт вместе с З. Венгеровой гостил в Лондоне у Сергея и Фанни Степняков-Кравчинских. 16 сентября Венгерова писала подруге: «Поэту <Минскому> счастье везет удивительное: он все здесь видел, не только Burne Jones'a <Берн-Джонса>, но — Нелли, божественную Нелли, случайно вошедшую в вагон, в котором он ехал вместе с Фанниным Сергеем. Он теперь бредит ею, и говорит, что если бы иметь такую Нелли, то можно бросить к черту и мэоны» (Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети / Publication, commentaires et notes de Rosina Neginsky // Revue des études slaves. Paris, 1995. T. 67. Fask. 1. S. 220). По разысканиям Р. Нежински, речь идет об «австралийской певице Helen Porter Mitchell Armstrong,

известной под именем Nellie Melba (1866—1931), начавшей свою карьеру певицы в Лондоне в 1866 году и гастролировавшей в Ковент-Гардене периодически с 1888 по 1914 год» (Там же).

40. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
СПб., 189*4* года *Окт<ября> 22* дня

Дорогой Николай Максимович, сегодня мне передали Ваше поручение через Ак<има>Льв<овича>, т. е. запрос о гонораре[1]. В эту минуту (сегодня и завтра праздник[2], а кроме того — вообще в моей кассе *не* праздник!) — у меня есть только 50 р., кот<орые> я спешу отослать Вам, в том рассуждении, что деньги могут быть Вам нужны хоть в каком бы то ни было количестве немедленно. Скоро я пришлю Вам остальные. 25 р. отосланы уже давно в присланном Вами конверте. Если бы мне жилось легче, я бы уже давно послала Вам гонорар за поэму[3], не дожидаясь Вашего напоминанья. Но, к сожалению, приближаясь к подписке, я почти изнемогаю в борьбе с недостатком необходимых средств. Это очень тяжелая сторона моей жизни, которую мало кто знает во всем ее великолепии. Но это неинтересно. Поговорим о том, что любопытно для всех и для нас с Вами, в частности. Я только за этот м<еся>ц поняла вполне, какое «политическое животное» сидит во мне: общественные события меня беспредельно волнуют. Теперь у нас — среди густых туманов — проносятся какие-то веяния, какие-то ожидания, основанные на некоторых реальных данных[4]. И я так жду чего-нибудь лучшего, чего-нибудь нового, что по ночам каждую минуту просыпаюсь от ожидания. Если бы побольше гласности — вот первое желание. А то ценз<ура> совсем заедает. Не могу Вам сказать, до какой ярости довел меня Ф<еоктисто>в: статья Толстого запрещена, несмотря на ходатайства хорошо поставленного лица[5], и что еще удивительнее и ужаснее — роман Соллогуба <так!> тоже[6]. Я не успокоилась, конечно, на этих запрещениях и распалялась для дальнейшей борьбы: нельзя мириться с абсурдами. Но в это самое время декорации стали застилаться туманом и меняться, и теперь, как я Вам говорю, — я могу только ждать помощи от внешних событий. Последние дни были очень интересны. Я много ходила по улицам, присматривалась к толпе. Я очень жалею, что мне некогда вести дневник — он был бы наполнен интереснейшими наблюдениями. Вести журнал становится теперь вдвойне интересным. Необходимо только чутко следить за жизнью и сохранять в себе твердые и ясные настроения и взгляды. Я очень жалею, что не могу поговорить с Вами лично теперь: я так ищу вокруг себя людей однородного настроения. В редакции, впроч<ем>, я их не вижу: А<ким> Л<ьвович> и Полонский[7] тоже полны каких-то ожиданий. Но большинство людей просто ужас-

ны банальным повторением истрепанных фраз. Ч<е>л<овечес>кая стадность и бесцельная неискренность — ужасны.

Я Вас часто вспоминаю с чувством искренней дружбы и расположения. За последнее время я Вас, мне кажется, как-то поняла душевно и сблизилась с Вами заочно и без всякого Вашего к тому приглашения и без всякой необходимости. Если Вы имеете склонность заглядывать иногда в список своих искренних доброжелателей, запишите туда и мое имя. Я всем сердцем желаю Вам выздоровления[8] и чего-нибудь хорошего в жизни. Стихи Ваши мне очень нравятся, и я много хвалю их в разговорах с другими — они мне нравятся очень *живо*, возбуждают какие-то хорошие токи в душе. Кстати, мой брат Яков (Крюковский)[9], поступивший теперь в гимназию отца воспитателем, пришел в такое удовольствие от Ваших стихов, напечат<анных> в октябр<ьской> кн<ижке> Сев<ерного> В<естника>[10], что читал их пансионерам, все были очень довольны, и потом он пришел ко мне с просьбою дать Ваш адрес: он хотел *пойти* к Вам, познакомиться. Но это было уже после Вашего отъезда! Будьте здоровы и, если не лень, напишите.

Л. Гуревич

<На обрывке листа:>

P. S. Я хотела уже послать Вам 50 р. при этом письме, когда Ак<им> Льв<ович> пришел сказать мне, чтоб деньги я не пересылала, а отдала через него г-же Вилькиной[11]. Так я и сделала, а письмо, пожалуй, нужно все-таки послать Вам, раз оно уж написано?

<Приписано на полях первой страницы справа:> А Вы-таки поселились подле гадостной рулетки! Помните Чуйко и его «системы»?[12]

<Приписано на полях первой страницы слева:> Je pourrais vous écrire boucoup d'intéressent, mais je cranes que cette letter ne soit lue parle garson qui doit l'expidire et parles autres[13].

Конверт: Заказное
Монте-Карло
[Monte-Carlo]
Villa Flore
Meus Nicolas <Minsky>
Г. Н. М. Вил<енкину>
П. ш. 24 окт. 1894 С. Петербург; 10 Nov. Monte-Carlo

[1] В 1894 г. Минский напечатал в «Северном вестнике» стихотворения: «Нелли (Надпись к портрету)» — № 1; «Тень» («Был еще раз день, был вечер, ночь спустилась вслед...») — № 2; «Сорренто» («Прощай, Сорренто! В этот поздний час...») — № 6; «На палубе сырой мелькали мы, как тени...» — № 10; «Мне кажется порой...» — № 12; поэму «Город смерти» — № 11; а также перевод трагедии М. Метерлинка «Слепые» — № 5. С. 228—248.

[2] 21 окт. (3 нояб.) 1894 г. праздновали восшествие на престол императора Николая II.

[3] Имеется в виду гонорар за публикацию поэмы Минского «Город смерти» (*СВ*. 1894. № 11).

[4] Подразумеваются ожидания общественных перемен, связанные с кончиной Александра III (скончался 20 окт. 1894 г. в Ливадии); 30 октября гроб с телом императора для траурной церемонии прощания был привезен в Москву; 1 ноября — в Петербург, в царскую усыпальницу Петропавловской крепости; церемония прощания длилась шесть дней, 7 ноября состоялось погребение.

[5] *Феоктистов Евгений Михайлович* (1828—1898) — историк, публицист, в 1883—1896 гг. начальник Главного управления по делам печати. Сохранились письма Феоктистова к Л. Я. Гуревич: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 192. Произведения Толстого проходили двойную цензуру — в Цензурном комитете и в Главном управлении по делам печати. Статья «Религия и нравственность» была разрешена к печати лишь в декабре 1894 г., опубликована под загл. «Противоречия эмпирической нравственности», с большими цензурными сокращениями: *СВ*. 1895. № 1. Отд. I. С. 279—296. 10 окт. 1894 г. Гуревич писала Толстому: «Цензура в лице самого Феоктистова запросила Вашу, дорогую мне до бесконечности, статью о религии и нравственности. Феоктистов отказал в том не только мне, но и <А. Ф.> Кони, который ходил к нему и просил его об этом, хотя сам сначала говорил мне, что, по его мнению, эта статья не пройдет. Я ездила советоваться со <Н. Н.> Страховым о том, какие смягчения можно сделать. Он сделал мне своей рукой некоторые сокращения, а на последнем большом листе корректуры написал: “Это все не может пройти. Я ошибся, думая, что тут можно что-нибудь сделать”. Не могу Вам сказать, с какой настойчивостью, с какой горячностью хлопотала. Я имела по этому поводу интересный разговор в цензуре (по характерности — для нашего времени и наших условий жизни), что хотела бы все это записать на память людям. Они признаются, что не знают, “как быть” с Вами, что у них “нет почвы под ногами” и что они “теряют голову”. По их собственным словам, вся Россия все равно, несмотря на их запрещение, читает “Царство божие” и “Тулон”» и т. д. (*Толстой Л. Н.* Переписка с русскими писателями / сост., вступ. ст. и прим. С. А. Розановой // Вопросы литературы. 1960. № 11. С. 92).

[6] *Федор Сологуб* (наст имя — *Федор Кузьмич Тетерников*; 1863—1927) дебютировал в «Северном вестнике» в 1892 г.; в 1894—1897 гг. постоянный автор журнала. Подготовка к печати и публикация романа «Тяжелые сны» (*СВ*. 1895. № 7—12) с самого начала сопровождались цензурными нареканиями. Под давлением Л. Гуревич и Волынского Сологуб был вынужден вынимать из текста целые эпизоды и главы (они были восстановлены в отд. изд.: СПб., 1896; СПб., 1905). Подробно см.: *Сологуб Ф.* Письма к Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынскому / публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л.: Наука, 1974. С. 115—122; *Павлова М.* Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников. М.: Новое лит. обозрение, 2007. С. 117—122. 7 марта 1895 г. Минский писал Сологубу из Монте-Карло: «Судьба Вашего романа мне давно не дает покоя, но я все же не теряю надежду, что увижу его в печати. Теперь Любовь Яковлевна укрепила во мне эту надежду. Дела сложились так, что я скоро вернусь в Петербург. Прочту Ваш роман и решим, что нужно делать» (цит. по: *Rabinowitz Stanley J.* From the Early History of Russian Symbolism: Unpublished Materials on Fedor Sologub, Akim Volynsky, and Lyubov' Gurevich // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1994. Vol. XXVII. P. 126).

[7] *Полонский* (Леливо-Полонский) *Леонид Александрович* (1833—1913) — публицист, прозаик; вел раздел «Внутреннее обозрение» в «Вестнике Европы» (1868—1880), «Русской мысли» (1884—1892), в 1893 г. перешел в «Северный вестник», где вел сразу несколько разделов — «Внутреннее обозрение» (с дек. 1893 г.),

«Политическая летопись» (с мая 1894 г.), «Провинциальная печать» (псевд.: *Л. Прозоров*). Был солидарен с Волынским по основным вопросам журнальной политики; однако в 1896 г. после публикации программной статьи Волынского и Гуревич «Идеализм и буржуазность» (*СВ*. 1896. № 1) демонстративно покинул журнал, заявив об этом в печати (Новое время. 1896. 7 марта; Новости и Биржевая газета. 1896. 7 марта). См. о нем: Русские писатели, 1800—1917: биогр. словарь / гл. ред. П. А. Николаев. М.: Большая российская энциклопедия, 2007. Т. 5: П—С. С. 52—53 (статья Л. Д. Зубарева). См. также прим. к п. 60.

[8] В 1894 г. у Минского диагностировали острую форму туберкулеза, он был вынужден на несколько месяцев уехать лечиться за границу. Поэт обосновался на вилле Флора (Villa Flora) в Монте-Карло (между Ниццей и Ментоной).

[9] *Гуревич Яков Яковлевич* (псевд.: *Я. Крюковский*, *Земский гласный Т*.; 1869—1942) —писатель, педагог; директор Гимназии и Реального училища Гуревича (после смерти отца); преподаватель Санкт-Петербургской педагогической академии; автор около двадцати книг учебного и педагогического направления. Редактор-издатель журнала «Русская школа», печатался в «Северном вестнике», «Освобождении», «Русской жизни», «Тульской жизни» и др. В «Северном вестнике» опубликовал рассказы «Павел Залетный» (1893. № 6), «Беглый» (1894. № 7), «Бог театра» (1896. № 6), повесть «Диана» (1897. № 7, 8), позднее они вошли в авторский сборник «Повести и рассказы» (СПб., 1902).

[10] Имеется в виду стихотворение Минского «На палубе сырой мелькали мы, как тени...» (*СВ*. 1894. № 10. С. 48).

[11] *Вилькина Людмила* (до принятия православия в 1891 г. — *Изабелла*, домашнее имя — Бела) *Николаевна* (1873—1920) — поэтесса, переводчица, жена Минского (официально — с 1905 г.), племянница З. А. Венгеровой.

[12] *Чуйко Владимир Викторович* (1839—1899) — литературный и художественный критик, переводчик, автор книги «Современная русская поэзия в ее представителях» (СПб., 1885), популярных биографий Байрона, Гейне, Золя, Сервантеса и др.

[13] Je pourrais vous écrire boucoup d'intéressent ~ et parles autres (*фр*.) — Я могла бы написать вам много интересного, но опасаюсь, что это письмо прочтет посыльный, который должен его передать, и другие.

41. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
СПб., 189*4* года *Ноября 10* дня

Дорогой Николай Максимович,

Пишу Вам в день получения Вашего письма, т. е. собственно в ночь, ибо живу я только ночью — днем же меня осаждают мелкие дела, которые тяжелее всякого большого дела. Мне очень жаль, что Вас здесь нет. Мне бы хотелось поговорить с Вами о многом, что теперь переживается, вероятно, всеми, хотя не знаю, в такой ли степени, как здесь, в редакции журнала, в нашей, столь немногочисленной редакции. Не могу Вам сказать, к<а>к хочется говорить с понимающими людьми и, к<а>к оказалось, мало этих понимающих людей. Этот момент раскрыл мне многое. Я вижу теперь, что большинство самых порядочных людей — добродушных индивидуалистов — необычно

снисходительны к подлости. А подлость кишит вокруг нас, к<а>к никогда. Недавно получила письмо от старого Льва, который пишет, что его «приводит в недоумение всеобщее бешенство подлости и дурачества»...[1] И французские газеты ужасны, тем более ужасны, что у них палка висит все-таки не так близко над головою. Но что делают наши, здешние редакторы... я не могу думать об этом без ярости. Подумайте... Вы видели м<ожет>б<ыть> мое имя в некоем списке, знаменовавшем умиленные чувства по адресу покойного. Поверите ли Вы: я сама только *потом* узнала, что состою в списке, что имя мое вместе с названием журнала вырезано на серебряном листке — одном из многих, составляющих венок — смиренное подношение санкт-петерб<ургских> издателей и редакторов[2]. Нашими именами *распорядились* без нашего ведома, и я сама узнала об этом тогда, когда возложение было уже готово, когда все было кончено и ко мне пришли только получить р<убли>. Приношение было заказано на 3000 р. — если бы не распределить на тех, кто не пришли на заседание, то собравшимся пришлось бы слишком дорого... И они разложили и на тех, кто уклонился от собрания, решили, исполнили, выгравировали свои и наши имена (подлое тщеславие при трусости!) и потом, когда все было уже *сделано*, прислали за деньгами... Поистине то, что я вижу вокруг себя, беспредельно ужасно по подлости, рабьей трусости, неудержимому, добровольному холопству... Как *надеяться* при этом? Я не знаю, пока, но я надеюсь. Никогда еще общество не кипело так слухами и ожиданиями. Я надеюсь тоже, страстно надеюсь, возмущаясь вместе с тем, сознанием, что приходится надеяться только на *личностей*, от которых все зависит, а не от общества, которое не заслуживает почти ничего лучшего. Мне смертельно стыдно за людей, и я не могла бы доказать, что есть *основание* на что-либо надеяться. Но единственное, что я могу сказать, это то, что в атмосфере очень много паров и что то или иное, уже по одному этому, должно совершиться, должно двинуться в какую-нибудь сторону. Мне кажется, что *штиль* прошел. Настолько иные времена, мне кажется, — более благоприятного для образования талантов, для формировки крупных людей. И у нас, и в старой Европе близится какая-то новая эра. Вот на что я надеюсь, п<отому> ч<то> неподвижности не бывает в природе...

Соллогуб <так!> так или иначе должен пройти!..[3] Это невероятно было бы. Ром<ан> Мережковск<ого> принят[4]. Червинск<ого> еще не читали[5]. Дела так много, что я буквально целыми ночами не могу спать. В этом году я ставлю *последнюю* отчаянную ставку — у меня больше совсем нет средств ниоткуда. Но я надеюсь и живу надеждой. Это ведь не рулетка!..

<Приписано на полях первого листа:> Прочтите в ноябр<ьском> С<еверном> В<естнике> маленький рассказ *Н. Н.* «Странная история»[6] и напишите мне свое искреннее мнение. Я верю Вашему вкусу.

<Продолжено на полях:> Как жаль, что Вас нет. Вы не верите в свободу, но любите ее больше многих, которые верят в нее. И я люблю ее всею страстью души. Поправляйтесь и возвращайтесь. Желаю Вам этого всем дружески привязанным сердцем.

Перевод на Лион<ский> Кредит[7] я пошлю отдельно от этого письма.

<На отдельном листе:>

P. S. Пишите мне, что вздумаете, без разбору, как хорошему и не склонному к глупым критическим придиркам другу. Пишите мне, что думаете, что читаете, и о самом себе пишите с уверенностью, что имеете во мне не злого, но доброго друга. Чем более душит меня жизнь деловою стороною, к которой у меня никогда не было способностей, и чем больше я развиваю в этой жизни свою механическую волю, тем более чувствуется потребность поговорить иногда попросту, не мудрствуя лукаво. А ведь во всех нас, несмотря на нашу мудреность, привычку к резонерству, есть что-то простое, живое, теплое и нежное. Я думаю, что людям дано Богом или природою очень много сил, сколько мы ни расточаем их, на все хватает. Жизнь хлещет прутьями по лицу, а в сердце рождается какая-то особенная мякоть!!.. чудаки люди!..

Конверт: Заказное
Монте-Карло
[Montecarlo]
Turbie. Villa Flore
Mousieur N. Wilenkine
П. ш.: 10.XI.94, С. Петербург; 26 Dec. 94 Monter-Carlo; 27 Dec. 94. Turbie

[1] Ср. запись в дневнике Л. Толстого за 3 нояб. 1894 г. (по поводу письма Гуревич о «верноподданических» откликах в печати на смерть Александра III): «Письмо от Гурев<ич>, справедливо возмущенное всем бешенством подлости и дурачества» (*Толстой Л. Н.* Собр. соч.: в 22 т. Т. 21: Избранные дневники, 1847—1894. М.: Худож. лит., 1984. С. 520).

[2] В полном списке петербургских редакторов и издателей (всего 72), участвовавших в траурном подношении, опубликованном в газ. «Новости и Биржевая газета» (1894. 4 нояб. № 304. С. 2), под номером 54 значилось имя Л. Я. Гуревич, издательницы «Северного вестника». Публикация сопровождалась описанием: «Серебряный венок, возложенный петербургской печатью на гроб в Бозе почившего Императора Александра III, имеет 1 арш. $6^1/_2$ вершков в вышину и 1 арш. 3 вершка ширины, левая сторона из лавровых ветвей (символ мира), правая дубовых (символ силы). Пальмовые ветви (мирное царствование) пересекают венок на конце и выходят за пределы его. Вензель Его Величества из чистого золота. На вензеле большая Императорская Корона также чистого кованого золота. У подножия венка положен свиток бумаги в траурной кайме с надписью “Печать” и на другом конце свитка — С.П.Б. Перо писателя оксидированного серебра упало на траурный свиток. Массивная серебряная лента прикреплена к подножию венка с надписью: “Императору Александру III, Царю-Миротворцу, Петербургская пе-

чать". На листьях венка написаны издания, от имени которых возлагается венок и имена их редакторов и издателей».

[3] Роман Ф. Сологуба «Тяжелые сны». См. прим. 6 к п. 40.

[4] Роман Д. Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник» — первая часть трилогии «Христос и Антихрист», впервые под загл. «Отверженный»: *СВ*. 1895. № 1—6.

[5] *Червинский Федор Алексеевич* (1864—1917) — поэт, переводчик, прозаик, драматург; юрист, петербургский присяжный поверенный; товарищ по университету Мережковского, поклонник З. Гиппиус («роман» развернулся в 1893 г., см. запись в интимном дневнике «Contes d'amour»: *Гиппиус З.* Дневники: в 2 т. Т. 1 / под общей ред. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 1999. С. 36). В начале 1890-х гг. был близок кругу «Северного вестника», где изредка помещал стихи; здесь же напечатал первую стихотворную комедию «В глуши» (1891. № 5); автор единственного сб. «Стихи» (СПб., 1892). Стихотворения Червинского из итальянского цикла («В Помпее», «В Вероне») под общим заголовком «Путевые эскизы» вошли в составленную П. и В. Перцовыми антологию «Молодая поэзия: сборник избранных стихотворений молодых русских поэтов» (СПб.: типо-лит. Б. М. Вольфа, 1895; на обложке имена Бальмонта, Минского, Мережковского, Брюсова). Возможно, речь идет об одном из его рассказов, который был отклонен редакцией. Подробные сведения о нем см.: *Соболев А. Л.* Переписка З. Н. Гиппиус с А. Ф. Червинским // Литературный факт. 2021. № 1 (19). С. 61—104; Венеция в русской поэзии: опыт антологии, 1888—1972 / сост.: Александр Соболев, Роман Тименчик. М.: Новое лит. обозрение, 2019. С. 997—999. В «Северном вестнике» за 1895 г. публикаций Червинского не было. 10 июля 1894 г. Минский писал Волынскому: «Проездом из Москвы провел у меня два дня Червинский. Он заканчивает 2-ую часть романа, который пишет уже много лет. Теперь автор второю частью доволен, но хочет переделать первую. Что-то не верю я в этот роман» (РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 391, л. 6).

[6] Л. Гуревич имеет в виду собственный рассказ (под псевд. *Н. Н.*: *СВ*. 1894. № 11. С. 177—180); вошел в авторский сборник «"Седок" и другие рассказы» (СПб.: М. В. Пирожков, 1904. С. 135—140). «Странная история» — психологический этюд: Гуревич фиксирует переживания героя (испуг, ужас, стресс) при виде внезапного помешательства прислуги. В немногочисленных рецензиях на сборник рассказ был упомянут только Ф. Д. Батюшковым, который назвал его «совсем незначительным» и «непонятным» (Мир Божий. 1904. № 11. Отд. II. С. 117).

[7] Имеется в виду гонорар за публикацию поэмы «Город смерти», см. прим. 3 к п. 40 (22 окт. 1894 г.).

42. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
Спб. 189*4* года *Декабря 5* дня

Пришла домой в 12 ч. и в ожидании Ак<има> Льв<овича>, который сейчас придет заниматься (занятия — все по ночам, часто до свету!), уже отвечаю на Ваше дружеское письмо. Однако, чтобы оно было особенно правдивым, расположу его содержание в том порядке, в каком пошли токи в моем мозгу при получении Вашего письма 15 м<инут> тому назад[1]. Вы вряд ли знаете, как страшно бывает стыдно быть виноватым в денежном отношении. Вот уже несколько вре-

мени, к<а>к мысль о Вас соединяется у меня с терзанием совести по поводу непосланных 57 руб. Безденежье в смысле каких угодно лишений не так ужасно, как безденежье при виде писем от того, кому должен. Эти постоянные мучения совести, в смысле невольных, но сознаваемых провинностей, есть своеобразная школа, в которой можно совершенно переродиться — не знаю, к худшему или к лучшему. И если б Вы знали, какими искушениями пробуют испытывать меня родственники, побуждая отклониться от нашего пути, отказаться от тех самобытных оттенков Сев<ерного> В<естника>, для кот<орых> только и стоит терзаться. Верю в свою духовную правоту, верю страстно, и иначе не могла бы жить так, как живу. Но какое своеобразное сочетание в сознании и бесконечной правоты и бесконечных «гражданских» провинностей и преступлений — гражданских — увы! — в смысле просто имущественном. Простите меня, Николай Максимович, — на этой неделе я пошлю Вам свой долг, подписка начинается, а до сих пор у меня на каждый грош по десяти вполне законных собственных с разных сторон. Но верю, что это кончится, наконец, думаю, что подписка должна быть хорошей и что публика не может не отличить Сев<ерного> В<естника> по тому признаку, что просто в нем работают живые и искренние люди, и притом бесконечно убежденные люди.

Жаль, что нельзя с Вами поговорить хорошенько устно о том, о чем Вы пишете. Писать письма мне стало физически трудно: больше 6 стр<ок> трудно. Очень уж много приходится орудовать пером, ведь на каждой глупой корректуре сидишь с пером, и на кончике трех пальцев, которыми пишешь, выдавились постоянные ямки! Мне бы хотелось поговорить с Вами о том, что Вы пишете о свободе[2]. Еще недавно писала я Толстому мысль, которую все время чувствую: ужас современного положения заключается в том, что люди совершенно различных понятий, взглядов, люди, далекие друг от друга больше чем, может быть, далеки люди XIII и XVIII вв., скованы *общими*, одинаковыми законами, обычаями, условиями[3]. Не ужасно ли? Знаменитое и великолепное равенство перед законом есть страшное неравенство, для многих до безумия мучительное. Подумайте: поймали б тысячу людей — голодных, богатых, озябших, разряженных, объевшихся, больных — и велели бы всем есть по три больших котлеты с картофелем, жаренных в сале!.. Ведь что за ужас. И это всем ясно. А разве одинаковые законы для всех, даже мудрые и добрые, не есть то же самое. Мне кажется, что люди в Европе оттого так и разочаровались в своем строе, что там уже очень тяжело чувствуется эта скованность *разных* людей *одинаковыми* законами. Я не вижу иного спасения, кроме распадения государства и образования групп — хотя бы до бесконечности дробных — из которых каждая определяет — если ей угодно — *свои* законы. Другими словами — Толстой прав. Только дело, мне каж<ется>, не в том, чтоб рекомендовать мужику что-либо, чуждое еще его взглядам, а в том, чтоб дерзать самому, выделиться как мож-

но ярче из известной организации и творить свою волю. А дерзости еще страшно мало в обществе. Увы! последние недели показали, до чего трудно быть уверенным в ближних на счет самой примитивной самостоятельности и смелости... Есть еще что-то в голове на эту тему, но так бы и хотелось устно поговорить.

А пока вот что. Вы спрашивали о Венгеровой. К<а>к раз сегодня я к ней поехала, думала застать ее, провести у нее вечер и попросить ее перевести для С. В. (сокращая и перелагая многое) Автобиографию Annie Besant[4]. (Думаю, что было бы интересно.) Но Венгеровой не оказалось дома, и я вернулась. На днях, я знаю от Ак<има> Льв<овича>, Венгерова читала реферат в нео-филологическом обществе о прерафаэлитах[5]. У меня она была раз, ненадолго, в приемный день. Я бы хотела с ней поближе познакомиться: она такая знающая. Кажется, сообщила Вам добросовестно, что могу и знаю.

Прочтите «Тени» Соллогуба <так!>. Он настоящий талант, и это так хорошо, что Вы нам его открыли[6].

Насчет 1 повести Н. Н. приходится слышать такое разное, что просто смешно. Кто говорит, что это, очевидно, действительное событие, рассказанное очевидцем-героем, что писал это очевидно поживший *старик*. Вы говорите, что это произведение фатовски-дилетантское...[7] А писала ведь это молодая женщина, увидевшая что-то подобное не то во сне, не то в воображении и записавшая эту картинку во всяком случае с большим внутренним вдохновением, и это, *дейст<вительно>, один из многих* ее рассказов. Будут печататься и другие[8]. Пока до свидания. Пишите, и я буду Вам писать. Искренний доброжелатель и приятель

Л. Гуревич

---

[1] Письмо не сохранилось.

[2] Вероятно, речь идет о содержании несохранившегося письма Минского.

[3] Письмо Гуревич к Толстому с таким содержанием неизвестно.

[4] *Безант Анни* (*Annie Besant*; урожд. *Вуд* — *Wood*; 1847—1933) — писательница, феминистка; сторонница независимости Ирландии и Индии; выступала в защиту мальтузианства и атеизма; после 1890 г. — последовательница Е. Блаватской; президент Теософского общества (1907—1933). В «Северном вестнике» была напечатана автобиография А. Безант — «Исповедь» (1895. № 1—4, 10—11) в переводе З. Венгеровой. В предисловии к публикации Венгерова писала: «Подобно дневникам выдающихся людей, живущих жизнью своего века, автобиография Анни Безант представляет собой красноречивую страницу психологии времени. Будущий историк переживаемой нами эпохи не пройдет мимо этой правдивой исповеди, так просто рисующей духовную жизнь выдающейся по уму и душевной силе женщины. Психологический интерес этого “document humain” (человеческого документа. — *М. П.*) может сравниться только с другой женской автобиографией, дневником Марии Башкирцевой, так сильно волновавшим умы несколько лет тому назад. <...> Мария Башкирцева одна из первых отразила новые настроения, совмещающие крайний скептицизм с идеалистическими и отчасти мистическими

порывами; ее дневник был исходным пунктом тех сложных литературных и эстетических движений, которым присвоена условная, ничего не объясняющая кличка декадентства. Та же психологическая подкладка чувствуется во всей деятельности Анни Безант и отражается в ее автобиографии» (с. 215).

[5] Неофилологическое общество при С.-Петербургском (Петроградском) университете (1887—1928) выделилось из Романо-германского отделения Филологического общества при университете (имело два отделения: лингвистическое и педагогическое); выпускало «Записки Неофилологического общества» (СПб., 1888—1915. Вып. 1—8).

Подробный отчет о реферате см. в обзоре: *М. К. <Цебрикова М. К.>* О прерафаэлитизме в английской поэзии и живописи (доклад З. А. Венгеровой, читанный в неофилологическом обществе 25-го ноября) // Новости и Биржевая газета. 1894. 3 дек. № 333. С. 3). В виде статьи текст опубл.: Вестник Европы. 1895. № 3. С. 192—235; в развернутом виде под загл. «Прерафаэлитское движение в Англии»: *СВ*. 1896. № 4. С. 109—130; и в кн. Венгеровой «Литературные характеристики» (СПб.: типо-лит. А. Э. Винеке, 1897. Кн. 1. С. 1—153). В газетном отчете (указ. выпуск) сообщалось: «Многолюдное собрание с видимым удовольствием прослушало интересно написанный доклад. <...> Мережковский, похвалив докладчицу за добросовестное и глубокое изучение вопроса, не согласился с нею в оценке прерафаэлитизма. По его мнению, это — заря вечерняя, тогда как итальянское возрождение времен Джиотто и др. было утреннею зарею, зарею нового дня. Прерафаэлитизм — скорее упадок, decadence. Предшественники Рафаэля были полны наивной веры, у прерафаэлитов все искусственно. Те мало знали, эти знают много, но зато те были искреннее и правдивее. У итальянцев целомудрие и неподдельная красота, у англичан — все лживо. У Астарты Россетти губы вампира, во всей фигуре что-то жестокое, и, если бы Фра Анджелико увидел картины прерафаэлитов, он бы стал открещиваться от них, как от дьявола. По мнению оппонента, прерафаэлитизм стоит в связи с поэзиею Эдгара По, с его учеником Бодлэром и французским символизмом вообще».

[6] Ф. Сологуб вошел в круг сотрудников «Северного вестника» при поддержке Минского. Летом 1891 г. он приезжал в Петербург из Вытегры, где в 1889—1892 гг. преподавал в Учительской семинарии, посетил редакцию журнала и оставил свои стихи. Минский содействовал их публикации в журнале (дебютная публ.: *СВ*. 1892. № 2. С. 250 — стихотворение «Вечер» («Что за прелесть! Смотри...»), 1889). Минскому и Волынскому Сологуб обязан псевдонимом, впервые поэт воспользовался им при публикации стихотворения «Творчество» («Темницы жизни покидая...») (*СВ*. 1893. № 3. С. 52). Рассказ Ф. Сологуба «Тени» (впервые: *СВ*. 1894. № 12; в Собр. соч.: «Свет и тени») «произвел тогда ошеломляющее впечатление на всех» (*Старый энтузиаст <Волынский А. Л.>*. Ф. К. Сологуб // Жизнь искусства. 1923. № 23. С. 10) и принес автору признание в кругу символистов. 7 марта 1895 г. Минский писал Сологубу: «Ваши “Тени” были для меня приятным сюрпризом. Все больше убеждаюсь в мысли, что Вы призваны для большого дела. Главное — продолжайте, как начали, творите не по вне, а по внутри, давайте себя самого, никого не слушайте и не смущайтесь» (*Rabinowitz Stanley J.* From the Early History of Russian Symbolism: Unpublished Materials on Fedor Sologub, Akim Volynsky, and Lyubov' Gurevich // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1994. Vol. XXVII. P. 126).

[7] См. прим. 6 к п. 41.

[8] Десять рассказов Л. Гуревич, опубликованных в 1890-е — начале 1900-х гг. в журналах «Северный вестник», «Мир Божий», «Жизнь» и др., вошли в авторский сборник «“Седок” и другие рассказы» (СПб., 1904).

43. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

<На бумаге: Cercle des Etrangers
de Monaco
Salon de Lecture>

Monte Carlo, le 15 декабря 1894[1]
Turbie, Villa Flora

Дорогая Любовь Яковлевна, забавно, что нам приходится говорить друг с другом о денежных делах. Меня убивает всего более неполучение ответа на мою телеграмму, и я решил, что Вы послали простое письмо и оно пропало. Оказывается, что и у Вас не было денег. Это, конечно, грустно, но было бы сто раз грустнее, если бы Вы, из угождения вкусам публики, хоть на йоту отступили от прежнего направления журнала. Стремиться к успеху вполне естественно, но делать это следует, лишь оставаясь верным самому себе. Приноравливаться к чужим вкусам не только позорно, но и бесполезно. Свое заблуждение священнее чужой правды, а ведь Вы правы. Впрочем, напрасно я все это говорю Вам. Не такая Вы, чтоб идти на компромиссы. И я глубоко верю, что публика скоро поймет Ваш журнал и все то новое и страстно искреннее, что так отличает Сев<ерный> В<естник> среди всей нашей литературы. Бороться осталось немного — скоро будет победа. Знаю, что мое предчувствие не обманывает.

«Тени» Сологуба произвели на меня сильнейшее впечатление. У него не только большой талант, но своеобразный взгляд на жизнь. Из него выйдет русский Эдгар Поэ, только бы не заленился. Психология рассказа N. N. после Ваших слов мне ясна[2]. Об этом хотелось бы с Вами поговорить, но писать затрудняюсь. Часто думаю о Вас, как о писательнице, и признаюсь, Ваш образ в моих глазах двоится. До сих пор не могу забыть впечатления от начала Вашего романа[3], но чувствую, что над Вашей душой что-то тяготеет, и что Ваши крылья еще связаны. Чем? Во всяком случае не только внешними узами. В известном смысле, может быть, и Вы живете в мире теней, вместо мира предметов... Не сердитесь, друг мой, за эти слова. Говорю Вам, по старой памяти, всю правду, все, что думаю...

Если будут какие-либо отзывы о Сологубе, сообщайте мне. Меня крайне интересует его литературная карьера. Господи, как хочется быть в Петербурге со всеми вами, подальше от Монако и французов. Здоровье мое недурно, но боюсь петербургской весны.

Пишите, друг мой, хотя бы и не хотелось взяться за перо. Я очень дорожу Вашими письмами и Вашей дружбой.

<Подпись>

Печ. по: РО ИРЛИ, № 20003, л. 3—4.

[1] 2 дек. 1894 — по ст. ст. (по юлианскому календарю).

[2] Письмо Л. Гуревич к Минскому с пояснениями к рассказу «Странная история» неизвестно.

[3] Речь идет о прологе к роману Л. Гуревич «Плоскогорье» (1896), под загл. «Разлука» опубл.: *СВ*. 1895. № 9; полный текст: *СВ*. 1896. № 9—12; 1897. № 1—4; отд. изд. (с посвящением А. Волынскому): СПб.: тип. М. Меркушева, 1897.

44. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Конец декабря 1894>[1]

Дорогой Николай Максимович,

Имею к Вам большую просьбу, бесцеремонную, дружескую, о кот<орой> прошу никому не говорить. Перетащила журнал в Новый год, четвертый моего издательства, и чувствую непреодолимую необходимость в коротком отдыхе. Два года прошло с тех пор, как я уезжала на м<е>с<я>ц из Петербурга, перед тем — еще два года без отдыха — чувствую, что и моя кошачья или не знаю, какого зверя, природа не может обходиться без отдыха. Становится не только трудно, но почти жутко за свою машину, которая вся стонет и скрипит от нечеловеческого напряжения... Ведь и читателям больше приходится отдыхать, передыхать. Но вот я уже начинаю мысленно *доказывать* кому-то — и бесцельной <?> надобности Вам — что имею право на отдых, а Вы-то, пожалуй, и не сомневаетесь в этом, к<а>к другие, как мои кредиторы, кот<орые> при этом случае не упускают случая попрекнуть меня: Ага! захотели отдыхать! Прелестно! Силенки изменили! Небось — взялся за гуж, не говори, что не дюж... и т. д.

Но вы, по счастью, не кредитор мой: я Вам должна только за стихи, да и то уже сказали в конторе, чтоб немедленно послали. Итак, вот что. Хочу убежать из СПб. на 3 недели (больше нельзя) и тянет только на юг, где можно гулять без шубы и без калош, и видеть море и солнце. Хочу поехать на 2 недели в Ниццу. Но меня ужасает дороговизна. Если три недели отдыха могут обойтись мне больше 300 руб., откажусь от Средиземного моря, кот<орое> пленило меня два года тому назад. Я не могу сообразить, сколько это будет стоить, — жить в Ницце, самым упрощенным способом конечно, только чтоб можно было гулять и дышать. Я помню, что тогда прожила бешеные деньги и еще в гадостном отеле, от кот<орого> у меня осталось впечатление, подобное кляксе на других воспоминаниях о юге. Вы там теперь устроились и стали почти туземцем[2], поэтому, вероятно, без особого труда узнаете, на сколько можно прожить в Ницце или в какой-нибудь деревушке (только не в Beaulieu, где Ковалевский[3]) в течение 2—2½ недель. Сколько Вы сами проживаете? Мне потому не у кого узнать здесь, что все здешние знакомые, ездившие за границу, жили там с комфортом, не стесняясь, и мне стыдно (да и «положение» не позволяет) сказать им, что я спрашиваю о скупой, минимальной воз-

можности существовать подле моря и под солнцем. Я поехала бы через Австрию — это кажется дешевле. Колеблюсь между Крымом и Ниццей, помогите выяснить.

При этом — ради Бога не говорите М. Ковалевскому и никому из русских, если бы такое случилось. И сюда никому не пишите. Я надеюсь, что Вы это исполните, а мне напишите поскорее.

Преданная Вам
Л. Гуревич

Вчера у меня была ассамблея, как в прошлом году, когда Вы читали стихи, а Аким Львович полетел из кресла?

---

[1] Датируется по содержанию.

[2] См. прим. 9 к п. 40.

[3] *Ковалевский Максим Максимович* (1851—1916) — историк, юрист, социолог, общественный деятель, член I Государственной думы и Государственного совета; один из основателей (1901) и профессор Русской высшей школы общественных наук в Париже; академик Императорской Академии наук (1914). Ковалевскому принадлежала инициативная роль в возрождении русского масонства, см.: *Серков А. И.* Российские масоны, 1721—2019: биогр. словарь. Век XX: в 4 т. М.: Ганга, 2020. Т. II. С. 179–186; *Старцев В. И.* Тайны русских масонов. СПб.: Д. А. Р. К., 2004. С. 206—215. На вилле Ковалевского Элленорк в Болье в окрестностях Ниццы гостили приезжавшие из России интеллектуалы, в 1892 и 1894 гг. отдыхали Мережковские.

45. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
Спб. 189*4* года *Декабря 30* дня

Дорогой Николай Максимович,

Пишу Вам под влиянием некоторых впечатлений последних дней, довольно разнородного характера — Вашего письма к Ак<иму> Льв<овичу>[1], вчерашнего обеда в честь Боборыкина, где были все литераторы[2] и где для расположенных к Вам людей было заметно Ваше отсутствие, сегодняшнего собрания шекспировского кружка, где я была в первый раз[3]. Положительно — без всяких к тому ближайших причин — я за эту зиму как-то дружески привязалась к Вам, радуюсь, когда Вас хвалят, раздражаюсь и волнуюсь, когда о Вас говорят не в надлежащем тоне. И сегодня еще, в разговоре с Мережковской[4] после заседания шекспир<овского> кружка, я совершенно непосредственно сказала, что очень дорожу Вами и Вашими мнениями. Кстати, начав говорить Вам искренние слова, сообщу Вам некоторый эпизод маленький, кот<орый>, по-моему, должен быть Вам приятен — мне бы он был приятен. На Рождество был у нас на дому у мамы вечер, танцы, ужин. Было весело, как в ранней молодости. Сидели вместе Ак<им> Льв<ович>, Соллогуб <так!>, еще один студент — кавказец,

чудной, маленький, умный и пылкий, «адепт» Акима Львовича[5]. Он говорил речи, восторженные и нескладные, провозглашал тосты, и в том числе за Вас, сказав, что Вы всегда возбуждали в нем, как поэт, его юношеские восторги, навеивали в его душу прекрасные мечты... И мы все пили за Ваше выздоровление и возвращение с самыми прекрасными чувствами.

Теперь о другом, по поводу Вашего письма. Все еще больно мне думать, что я причинила Вам неприятности на почве гонорара. Не «забавно», как Вы говорите, а больно говорить об этом с знакомым. Тяжело быть издателем, создающим журнал из ничего. Столько унизительного. Но каж<ется>, Вы не поняли меня, когда подумали, что я допускаю мысль о том, что можно погнуться, приклониться на публике, уступить толпе. Нет, это то, что стоит в моей душе абсолютно непоколебимо. Я говорила только, что иногда думается. М<ожет> б<ыть>, я была не права перед совестью, когда *сделалась* издательницей, когда вопреки мнению всех родных, знакомых, вопреки прямому запрещению отца, не дававшего мне даже паспорта, почти «убежала в издательницы». Много раз потом, не тогда, когда меня мучили другие, а именно тогда, когда я чувствовала себя виноватой перед сотрудниками, не посылала денег, почти «крала» их произведения для своего детища, — мне невольно приходило в голову: м<ожет> б<ыть>, я не права в том, что сделалась издательницей. И ведь при этом хорошо помню свои настроения — отчетливое сознание всех ужасов и опасностей, открывавшихся передо мною. Иллюзий не было вначале, не было и *раскаяния* потом, бывают только минуты рассудочных сомнений: имела ли право? Не знаю... Читая как-то Стендаля, я встретила там фразу: «в нем не было в эту минуту того мрачного отчаяния, кот<орое> характеризует все великие страсти с самого момента их возникновения»[6]. И я в первый раз поняла, почему я сделалась издателем: именно мрачное отчаянье уносило меня на своем хребте в этот безбрежный океан, сознание какой-то фатальной необходимости, неизбежности моего поступка, которому сначала ничто, решительно ничто не благоприятствовало и не предвещало успеха... Теперь я понимаю по крайней мере, что у меня есть хоть какие-ниб<удь> данные для успеха, теперь я отчетливо понимаю свои задачи, и мысль активно участвует в том процессе, в котором одна историческая действительность становится другою действительностью, вдохновляет и раскаляет меня порою до какого-то исступления... Но вообще, говоря правду, как я ее сама понимаю, мне кажется все мое собственное поведение и моя судьба чем-то очень странным: точно кто-то свыше *внушил* мне идти по этому пути, и я иду — сомневаясь рассудком в своих силах, вынося минуты невозможных страданий и испытаний, таких ужасных страданий, что в них есть что-то фантастическое по напряжению (никому не интересно слушать повесть чужих страданий, но если б записать все переживанья, то можно было бы удивляться тому, что деятель-

ность *издателя* мож<ет> б<ыть> обставлена такими, почти романтическими явлениями и настроениями... Прозаическая роль издателя!). И, в сущности, тут все объясняется очень просто и даже прозаично: для того, чтобы делать в реальности, в житейской обстановке, то дело, кот<оро>е я делаю, нужно было иметь в запасе «капитал» в 100 000 рублей, а я сделалась издательницей — зная это и, в то же время, не имея ни копейки! Ведь это было б, к<а>к говорит мой отец, крайне *легкомысленно*, если бы не было для меня с самого начала так мрачно и так серьезно. И вот теперь журнал доведен до того, что он, вероятно, будет в этом году окупать себя. Десятки тысяч были затрачены за эти годы, десятки тысяч, *добытые* мною, добытые мною в большинстве случаев от людей, которым я даже вовсе не импонирую, к<а>к деловой ч<е>л<ове>к, и которые часто, дав мне деньги, потом сами удивлялись, чем и к<а>к я сумела вырвать у них то, с чем они расстались так неохотно... Еще остается несколько лет мучительнейшего труда — ведь теперь нужно мало-помалу, не колебля дел, расплачиваться с долгами, упрашивать кредиторов подождать и т. п., и пока улучшать, улучшать и улучшать дело, которое еще бесконечно плохо в сравнении с тем, чем должно и *может* быть. Помощников нет (кроме А<кима> Л<ьвовича>), людей нет, порядочного секретаря нет и трудно достать, — в конторе, в письмах, в корректурах все нужно делать самой, и по совести — эта работа по 16 часов в сутки, *без отдыха летом*, до невозможности трудна и берет сил без счета и конца... Но когда люди говорят мне, что, кажется, мое дело *не стоит* такого труда, я презираю их. *Слово* — ведь это единственное верное орудие тех духовных революций, кот<орые> должен перенести мир, чтоб очиститься. Самостоятельный орган печати... — и до моего издательства и теперь, при всех сосущих меня житейских заботах, — это кажется мне целым царством, которое можно сделать могущественным и обаятельно-влиятельным. Никогда я не раскаюсь в том, что пошла по этому пути, п<отому> ч<то> он вел меня в надлежащем направлении. Но нужно еще много, долго терпеть и работать, не щадя себя и не думая о себе вовсе как о психологической единице. Мы еще не победили, как Вы говорите, нет, еще далеко до этого, мы только кое-кого заинтересовали, не более, но еще не приобрели никакого влияния на умы. Я знаю, я не обманываю себя. Нечто достигнуто — чуткие люди чувствуют это, и начинается какое-то броженье кое-где. Что-то закипает, но мы еще не должны даже и думать о том, что близки к победе. Все в будущем. В том, что так или иначе выражает нашу реальную силу — в подписке — мы идем в гору, систематически из году в год поднимаясь. Но добыть успех честно, без компромиссов, очень трудно, очень долго. И надо еще много терпеть и работать над всяким, самым черновым делом. Иногда приходится заниматься такими делами, что — думается — право, что даровитая и нервная натура ни за что в мире не стала бы этого делать. Иногда по этому признаку судя, я думаю, что

я просто бездарная ломовая лошадь с страшным запасом чисто физической энергии. Поверите ли — я сейчас пишу это письмо после того, как три ночи подряд не ложилась спать перед выпуском новогодней книги: через час, в 8 ч. утра мне надо идти в типографию, и ложиться явно не стоит. Б<ыть> мож<ет>, эти дни и ночи вычтутся из конца моей жизни, я не абсолютно здоровый ч<е>л<ове>к физически, но пока я все это выношу сравнительно легко, хотя и не без усилий воли.

Все это пишу я Вам вот почему. Когда Вы или кто другой говорят мне — зачем я не делаю того, что «дало бы расцвести моей духовной индивидуальности», что было бы личным, более благодарным творчеством, зачем не пишу роман[7], который — клянусь Вам — готов в голове и кот<орый> я могла бы написать в какие-нибудь полгода, — мне так больно, что я теряю всякое самообладание. Отчасти потому, что мой отец не перестает меня пилить на тему о том, что я убиваю себя вместо того, чтобы писать, отчасти оттого, что моя роль часто неимущего денег издателя и страшно тяжела, и ставит меня в какое-то ложно-*униженное* положение, — отчасти, и главное, потому, что ведь мне уж самой жгуче хочется писать, а я еще *не имею права и возможности* даже по 3 часа в день отнимать у дела, п<отому> ч<то> тогда оно расшатается. Это мои испытания, мои искушения, мои демоны: иногда хочется до сумасшествия бросить все и писать, п<отому> ч<то> в голове страшно ясно каждое слово из того, что надо написать, и каждое это слово шевелится в голове и давит, точно всаженная в мозг пуля. А я не могу, п<отому> ч<то> надо писать... векселя: для банка, для типографа, для бумажника, для переплетчика, нужно писать письма, нужно делать тысячу дел, из которых каждое в отдельности глупо, мелко и пошло, а все вместе — не менее велики, чем истинно художественное произведение. Мож<ет> б<ыть>, если бы у меня было еще лучшее физическое здоровье, или просто — если бы журнал издавался при лучших условиях, или просто, если бы нашлись люди, способные помочь мне в этом деле, т<а>к чтобы у нас было не менее работников, чем в других журналах — тогда это было бы только радостью, таким счастьем писать роман. Но теперь я не должна и не смею и думать об этом. Уже если внутренние токи толкнули меня сделаться издательницею без денег и набрать кучу долгов, то я из примитивной порядочности — не говоря ни о чем другом — должна *всю* себя без остатка употребить на то, чтобы расплатиться за свою решимость и за свою любовь к идее того дела, которое я делаю. Пишу вам это длиннейшее письмо, чтобы сказать Вам от всего сердца: если в Вас есть капля дружеского расположения, не искушайте и не мучьте меня. Из простого ч<е>л<овечес>кого эгоизма и самолюбия мне страстно хочется выйти из того состояния, когда все люди относятся ко мне только как к «издателю», ни на что кроме черновой работы не способному. Все, что я слышу от людей, все, что я вижу к себе с их стороны, причиняет очень <обрыв текста, лист утерян. — *М. П.*>

[1] Возможно, имеется в виду письмо Минского к Волынскому от 23 окт. 1894 г. (РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 331), в котором он одобряет его статью «Журналистика шестидесятых годов и Писарев» (*СВ*. 1894. № 10. С. 245—303): «Книжку С<еверного> В<естника> получил. Статья Ваша и нов<ые> заметки доставили мне большое наслаждение. По тону и по наполнению статья эта — громадный шаг вперед. Это не полемика, а история культуры. Характеристика Каткова крайне удачна. Это ночная бабочка, <нрзб.>, попалась на булавку и сидит прочно» (цит. по: Переписка З. Н. Гиппиус с Н. М. Минским / вступ. ст. и прим. С. В. Сапожкова; сост. и подг. текстов А. В. Сысоевой и С. В. Сапожкова // Литературное наследство. Т. 106: Эпистолярное наследие З. Н. Гиппиус: в 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2018. Кн. 1. С. 311). Часть упомянутой статьи посвящена полемике М. Н. Каткова с «Современником» в «Русском вестнике» (1861. № 2).

[2] Торжественный обед в честь П. Д. Боборыкина, устроенный друзьями писателя, состоялся 29 дек. 1894 г.; на обеде присутствовало около 40 чел., в их числе: К. К. Арсеньев, П. И. Вейнберг, Д. В. Григорович, А. А. Потехин, В. Д. Спасович, М. М. Стасюлевич, А. М. Скабичевский, И. Е. Репин и др. «Никакого прямого повода к этому чествованию не было, — сообщала газета, — хорошие друзья и почитатели таланта почтенного писателя просто собрались приветствовать его за товарищеским обедом по случаю его возвращения из-за границы и, может быть, кстати напомнить ему, что его плодотворная деятельность, так пристрастно-глумливо шаржируемая нашей современной декадентской критикой, не проходит незамеченной в тех слоях общества, которым принадлежит решающее слово в оценке литературных заслуг и талантов...» (*Б. п.* Чествование П. Д. Боборыкина // Новости и Биржевая газета. 1894. 30 дек. № 358. С. 7).

[3] Шекспировский кружок в Петербурге был основан в 1874 г. и работал до конца 1890-х гг., его костяк составили юристы, писатели и переводчики: С. С. Андреевский, К. К. Арсеньев, П. Д. Боборыкин, П. И. Вейнберг, Волынский, А. Ф. Кони, Мережковский, Минский, С. И. Смирнова-Сазонова, В. Д. Спасович, кн. А. И. Урусов, В. В. Чуйко, И. И. Ясинский и др. Собрания нередко проходили на квартире одного из организаторов кружка — видного адвоката и писателя *Владимира Даниловича Спасовича* (1829—1906), на Кабинетской ул. Первоначально кружок занимался изучением жизни и творчества Шекспира, позднее французского классицизма, затем Флобера, Бодлера и новейшей («декадентской») литературы: произведений Малларме, Гюисманса, Блуа и др. См.: *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890—1917 годов: Словарь. М., 2004. С. 263; подробно: *Сапожков С. В.* К истории «Шекспировского кружка» в Санкт-Петербурге (по новым материалам) // Вопросы филологии и преподавания филологических дисциплин: сб. науч. и публ. статей, посвященных памяти проф. А. П. Ауэра. Коломна, 2017. Вып. II. С. 207—217.

[4] *Гиппиус-Мережковская Зинаида Николаевна* (1869—1945) — писательница, жена Д. С. Мережковского; ее воспоминания о Шекспировском кружке см.: *Гиппиус З. Н.* Неизвестная проза: В 3 т. Т. 2: Чего не было и что было. СПб.: Росток, 2002. С. 157—158 (очерк «Лик человеческий и лик времени», 1926). О «метафизическом» романе Минского с Гиппиус см. во вступ. статье С. В. Сапожкова: Переписка З. Н. Гиппиус с С. Н. Минским // Литературное наследство. Т. 106. Кн. 1. С. 112—120.

[5] Неустановленное лицо.

[6] Предположительно, переведенная Гуревич фраза — из романа «Красное и черное» *Стендаля* (*Анри Мари Бейля*; 1783—1842); впервые на русском языке в переводе Ан. Н. Чеботаревской: М.: К. Ф. Некрасов, 1915.

[7] Речь идет о романе Л. Гуревич «Плоскогорье» (СПб., 1897).

46. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

<январь 1895>[1]

Дорогая Любовь Яковлевна,

Почему после моих слов нужно было это письмо? Бог с Вами. Денежные дела не изменят ни на йоту моего отношения к Вам и к журналу. Я никогда не хотел Вам быть так полезен, как теперь. Если смета требует, можете похерить мое жалование и за этот месяц. Вы пишете, что Вам теперь придется самой читать корректуру. Пожалуйста, привлекайте меня и к этому делу. Посылайте все, что хотите, только без стеснения. В товарищеских отношениях нет ни актива, ни пассива. А я, в самом деле, смотрю на журнал, как на близкое, родное дело, и безусловно верю в его миссию. Секретарские обязанности меня ничуть не обременяют и не отнимают много времени. Останусь и впредь, если позволите, Вашим секретарем, на сей раз бесценным. Не взваливайте на себя слишком много работы, — Вы и без того измучены.

О деньгах тужить не привык. Как-нибудь век проживем. Денежных занятий на свете много, а вот журнал, в котором можно писать по душе, всего один. И люди, которым сочувствуешь, тоже все наперечет.

Сердечно Ваш Н. Виленкин

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 1—2.

[1] Датируется по содержанию.
Сверху карандашная помета Гуревич: «Конец 1895 или начало 1896».

47. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
Спб., 1895 года *Янв<аря> 18* дня

Дорогой Николай Максимович,

Кажется, мне удастся выбраться отсюда в воскресенье — это будет 22. Поеду я на Вену, вероятно, остановлюсь там на сутки для роздыха[1]. Потом возьму круговой билет через Швейцарию, Геную, Ривьеру, Париж. Значит, я подъеду к Монако со стороны Италии. Я Вам телеграфирую, и Вы поступите по-родственному — не правда ли? Придете меня встретить и дать мне мудрые советы. Мне страшно хочется на эти 20 дней отбросить все свою наживную, за волосы притянутую «практичность», свойственную издательской породе, и побыть простым человеком, без особой заботы о том, как бы получше устроиться. Только жить мне будет лучше не родственно, а где-нибудь на чердаке — только чтоб было солнце, солнце, которого я годом не вижу

и которое греет меня-то в воображении, да и то редко, п<отому> ч<то> жить комфортабельно я не хочу, что тогда я опять буду не в ладах со своей совестью — из-за кредиторов. Хочу жить в самой не-издательской комнате, тесно и высоко, только на солнце. А роскошь будет состоять в том, чтоб поехать на Ривьере по горам, в открытом омнибусе с англичанами и даже издали неприятными русскими путешественниками. Еще хочу непременно побывать в театре и в концерте, п<отому> ч<то> я два года не была в театре или концерте, а, кажется, это полагается раз в два года даже издательницам. Последние дни я очень хворала, т<ак> ч<то> мама стала беспокоиться, как я там буду одна. Я ей сказала, чтоб она была спокойна, там Вы, человек любезный и относящийся ко мне, как я полагаю, давно по-родственному. На этом основании мама успокоилась. Это, впрочем, не должно пугать Вас: я отнюдь не намерена особенно удручать Вас заботами о себе. Дня через три я вероятно «отойду», очухаюсь, и Вы сможете быть совершенно спокойны за такого в сущности довольно старого младенца.

А знаете, Аким Львович очень огорчается, *что Вы* ничего не отвечаете на его письмо. Он рассказывал мне свое письмо и ждал получить от Вас в ответ столь же теплое послание, а Вы чего-то такое не пишете[2]. Это решительно нехорошо. Аким Львович Вас трогательно и неизменно любит[3]. Из всех житомирских людей для него имеют серьезное значение, пожалуй, некоторые члены его семьи, которые очень уж его любят и ласкают, и Вы. Все остальное — петербургская фата-моргана, пестрая, и при всем своем разнообразии монотонная. Вы знаете, как мы работаем и живем близко друг от друга — я знаю Акима Львовича лучше, чем родных братьев. Среди ужасающего труда этого года, с целью, убегающею вперед по мере того, к<а>к он идет к ней, с раскаленным до боли сознанием, среди многочисленных врагов и немногих, несерьезных друзей, готовых к легкому предательству по всякому поводу и даже без повода, он имеет время и силы помнить и думать только о немногих. Все остальное существенно постольку, поскольку само приближается к нему для неведомых целей, и исчезает при первом удалении. Среди этого раскаленного и сосредоточенного существования в душе может жить только то, что очень глубоко и сильно. Вот почему я знаю, что А<ким> Л<ьвович> относится к Вам гораздо лучше, чем Вы это знаете, м<ожет> б<ыть>, гораздо глубже, чем Вы привязаны к нему. Ни к кому я его не могу и не имею ни малейшего права дружески ревновать его <так!>, кроме Вас: мне кажется, Вы недостаточно цените и любите гордую, бесконечно замкнутую натуру, с цельною, пламенною единою страстью во всем существе — к тому, что он считает своим призванием, с абсолютным отсутствием мелочных чувств и случайных страстей? Он так презирает все «случайное», что когда ему говорят о том, что люди, которые считаются его друзьями, говорят о нем за глаза по неведомым побуждениям вздорную ложь, он не обращает на это внимания, п<отому> ч<то> хо-

чет любить людей только за то, что в них стоит любви. Или уж просто их презирать или ненавидеть. Я знаю, что Аким Львович Вас трогательно любит и что ничто решительно не может поколебать в нем этого чувства. О себе писать он не умеет, его письма — истинное терзание для меня в его отсутствие, до того они нелепо скомканы. Но на Вашу просьбу написать побольше об Акиме Львовиче — я добросовестно и пространно излагаю все, что умею изложить, и ручаюсь, что весь тон моего сообщения безусловно верен. Относительно его отношения к Вам я тоже ни на йоту не ошибаюсь. Если Вам нужен истинно преданный, нежный и твердый друг, мужчина, то Вы его имеете в лице Акима Львовича. Итак, до свидания! Это довольно весело! 25 р. в Минск посланы. Пришлите (вообще) стихов для Сев<ерного> В<естника>. Преданная Вам

Л. Гуревич

---

[1] В письме к Гуревич от 25 янв. 1895 г. З. Венгерова сообщала: «Сестре в Вене я писала о Вашем приезде, и она будет очень рада быть Вашим гидом» (РО ИРЛИ, № 19841, л. 2). Сестра — *Изабелла Афанасьевна Венгерова* (1877—1956), с 1892 г. обучавшаяся в Венской консерватории; впоследствии известная пианистка.

[2] Письмо Волынского за январь (?) 1895 г. неизвестно. Ответ Минского — п. от 6 февр. 1895 г. опубл.: *БП.* С. 46 (цит.: «Вы — единственный человек, понимающий восторг мысли, и только с Вами я могу говорить о том, что меня волнует. Вы один знаете, как можно любить идею о боге, а об этой любви <твердит?> в последнее время все содержание моей жизни» и т. д.).

[3] В ноябрьском письме к Минскому, вскоре после его отъезда в Монте-Карло, Волынский писал о своих чувствах: «Без Вас мне живется хуже прежнего. Я так привык к Вам за последние годы, что чувствую совершенно невозможным лишенье. Хотелось бы поговорить с Вами о многом, о разных впечатлениях последнего лета, а Вас нет. При этом меня гложет мысль, что Вам, может быть, нездоровится, что Вы совершенно одиноки, нуждаетесь в деньгах. Как Вам плохо живется, Николай Максимович! Судьба наша во многих отношениях схожа, и я понимаю вашу скорбь, тоску — все то, что Вы умеете представить в стихах, что отражается в Ваших глазах. Только что же нам делать? Никто ведь нам не поможет. Все живут для себя — и только. Даже не хочется ни перед кем жаловаться на судьбу. Где тот человек, у ног которого можно было бы выплакать свое горе? А жизнь проходит... Не грустно, дорогой друг? Если для Вас значит что-нибудь моя любовь, скажите себе, что Вы не совсем одиноки. Я с Вами душою всегда и везде. Жму Вашу дорогую мне руку. Ваш АФ.» (РО ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 363, л. 20—21).

48. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Февраль 1895>[1]

Милый господин Минский,

перед обедом я получила письмо от мамы, очень успокоительное в смысле журнала[2]. За обедом по этому случаю напилась вина, т<ак> ч<то> теперь мне на душе весело и нежно! Из письма явствует, что

письмо Акима Льв<овича> пропало, ибо оно было послано еще 22-го февраля, а письмо мамы от 24-го февр<аля>, заказное, уже дошло. Ввиду того, что я немножко развеселилась, мне очень хочется развеселить, развлечь, или утишить и Вас. Вот причина сего маленького послания. К<а>к мне хочется увезти Вас в редакцию, чтобы Вы постоянно были с нами и много работали для себя. Я с волнением думаю о том, что скажет доктор. Но что бы он ни сказал, — ведь через некоторое время Вы все равно будете там. И поверьте — не только любовь к моему делу и радостное сознание в прибытии *помощи* заставляет меня так горячо относиться к Вашему участию в деле, но и бесконечное доверие к Вашему уму и вера в Ваш талант, и, наконец, свежая, но живая привязанность к Вам. Хотя бы Вы и не сумели привязаться ко мне, но Вы имеете во мне привязанность нежного, свободного и бодрого друга на все время, пока будете нуждаться в таковом и даже независимо от того — нужно ли и полезно ли это Вам.

Дядька

---

[1] Датируется по содержанию.

[2] Письмо Л. И. Гуревич к Л. Я. Гуревич с таким содержанием в переписке не выявлено (см.: РГАЛИ, ф. 131, оп. 2, ед. хр. 169, 170).

49. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<20 февраля 1895>[1]
<На бумаге:
Monte Carlo, le CERCLE DES ÉTRANGERS
DE MONACO
Salonde Lecture>

Николай Максимович, я Вас ищу, чтобы немножко поговорить и успокоиться как-нибудь и что-ниб<удь> решить: Новое Время сделало мне новую мерзость[2], которая будет стоить мне 200—300 подписчиков, и я в таком бешенстве, что у меня двоится в глазах[3]. Придите, пожалуйста, ко мне, п<отому> ч<то> иначе я наделаю каких-нибудь дикостей, благо телеграф недалеко.

Л. Г.

Я поднималась к Вам, была поймана <нрзб.>[4], кот<орого> чуть не избила зонтом: нежные женщины бывают иногда омерзительны.

---

[1] Датируется по содержанию.

[2] Речь идет о публикации рассказа Л. Толстого «Хозяин и работник» (*СВ.* 1895. № 3). 20 февр. 1895 г. газ. «Новое время» (№ 6817. С. 2) сообщала, что новая повесть Толстого, «за которую автор денег не берет, немедленно же явится в двух отдельных изданиях в Москве, и оба очень дешевые. Таким образом, “Хозя-

ин и работник" за несколько копеек может быть приобретен всеми желающими прочесть новое произведение Толстого, которое явится в один день с "Северным вестником" в книжных магазинах». Повторный анонс: Там же. 24 февр. № 6821. С. 1. Опасаясь за срыв подписки, Гуревич телеграммой просила Толстого задержать, хотя бы на месяц, одновременный выход его рассказа в других изданиях. Толстой ответил отказом. Подробно о публикации рассказа в «Северном вестнике» см. в переписке Толстого с Волынским и Гуревич: *Толстой Л.* Полн. собр. соч.: в 90 т. Серия третья: Письма. Т. 68—69 / подг. текста и комм. А. С. Петровского. М.: Гослитиздат, 1954; Т. 68: Письма 1895. С. 31—32, 38—40; также в письме Толстого к Н. Н. Страхову от 14 февр. 1895 г. («...рассказ мой наделал много горя. Соф<ье> Анд<реевне> было очень неприятно, что я отдал даром в Сев<ерный> Вест<ник>, и к этому присоединился почти безумный припадок (не имеющий никакого подобия основания) ревности к Гуревич. <...> Она была близка к самоубийству и только теперь 2-й день она опять овладела собой и опомнилась. Вследствие этого она напечатала объявление, что рассказ пойдет в ее издании <...>. Она хотела потребовать с Гур<евич> гонорар и отдать его в литерат<урный> фонд <...>» (Т. 68. С. 32—33). Подробно об обстоятельствах см.: *Толстая С. А.* Дневники. М.: Худож. лит., 1978. Т. 1: 1862—1900. С. 104—109.

[3] 10 февр. (28 янв.) 1896 г. Гуревич, возмущенная публикацией «Нового времени», писала А. С. Суворину из Монте Карло: «...издали, среди чужих людей и прекрасной сияющей природы, в дни отдыха, с какою-то особенною силою ощущается в душе горечь и брезгливость, вызываемая грубою и злостною заметкой, написанной лицемерным языком — яко бы из заботы о читателе <...>. Эта выходка особенно отвратительна в моих глазах, потому что нарушает добрые желания самого Толстого, который, узнав, что я не здорова и желая облегчить мою издательскую задачу на время моего нездоровья и отдыха, *поспешил* окончить повесть и, по его собств<енным> словам, в первый раз в жизни торопился с работой, чтоб она попала в Сев<ерный> В<естник> к<а>к можно скорее и принесла ему наибольшую пользу. Эта заметка до того груба, что производит впечатление дохлой кошки, которую уличный буян бросает под ноги актеру, выходящему на сцену. В ней есть какая-то бессмысленная, никчемная гадость, — как будто мне кричат: "что! обрадовалась, что Толстой тебе сочувствует и помогает!.. Как бы не так! Нака... выкуси!.. Вот тебе и Толстой!!". <...> По совести говоря — русская пресса представляется мне грязным и топким болотом. И как это ужасно, что даже люди, кот<орые>, к<а>к Вы, имеют все возможности быть независимыми и справедливыми, не поднимают свое дело над общим уровнем» (РГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1111, л. 60—61).

[3] Читается: векиралом — предположительно искаженное (*ит.*) vetturale — извозчик.

50. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<28 февраля 1895 г.>[1]

<Сверху приписано:> Можете отпустить причмокивающего субъекта, не дочитав послания. Если Вы уже успели поработать и *не боитесь выходить*, лучше зайдите, надев пальто-одеяло.

Николай Максимович, получила телеграмму от Т<олстого>: "Très chagriné impossible faire autrement"[2]. И теперь сознание, что мое пись-

мо не ушло, заставляет мои глаза еще больше провалиться и вообще — кутеж во всем разгаре.

Глупо, но чувствую, что, если бы письмо уже шло, — все было бы сноснее. И нет письма из редакции. А м<ожет> б<ыть> уже есть — у Вас? Тянет меня в СПб. — точно за веревку меня тащат, а печень бушует, не успев войти здесь в свои берега. Помогите мне отдохнуть — я не из железа, и эти непрерывные «кутежи» отнимут пятьдесят лет от моей восьмидесятилетней жизни. Не люблю размазывать историю своих физических недугов, а моя широкоплечесть вводит в заблуждение всех. Но я сама никогда не преувеличиваю своего нездоровья, напротив, мне более свойственно бравировать. Но если бы Вы знали, какие болезни я уже пережила — они оставили на мне следы и задатки новых болезней — Вы бы поняли, почему я прихожу в ярость при мысли, что мне не удастся запастись здесь отдыхом и здоровьем... Ах, друг мой, — Вы видели меня это время «беленькою», Вы видели то, что составляет душу моей души, и я не знаю даже, сумеете ли Вы удержать обо мне свое мнение, видя меня вымазанной российской грязью, из которой я выбиваюсь с каким-то неистовством. Мне бесконечно ясно все, чего я хочу и к чему я иду, и ничто не сломит мою душу, но говоря настоящую, неприкрытую правду, у меня кожа, не совсем подходящая к моим собственным костям: кости могут вынести всякую битву и всякий правеж, а кожа перетирается или загорается. Чувствую, что еще прожить два годика, залечить себя теперь — и все пойдет хорошо, все станет совсем прочно, и я действ<ительно> проживу долго. Но мне необходимо вылечиться, и прежде всего, отдохнуть и успокоиться. Это должно быть моей разумной ближайшей целью. А эта глупая история опять выбросила меня в ту колею, где я расточаю свои силы. Мне нужен друг не менее, чем Вам. Мне нужен друг, кот<орый> не волновался бы, не раздражался бы моими недостатками, который был бы, как *друг*, добрее и снисходительнее, ничего не прибавляя к тем разрушительным огням, которые и без того зажжены во мне природой, Богом и обстоятельствами. В жизни моей нет точки, которая не горела бы, не требовала бы от меня громадных душевных и нервных затрат. Я буду Вам самым преданным, верным и энергичным другом, а Вы помогите мне. Это от Вас зависит, если Вам действ<ительно> нужен друг. Научитесь понимать меня без долгих слов и объяснений с моей стороны. Во мне кипит многое, о чем говорить я не умею. Я гляжу прямо перед собою, я иду по прямому восходящему пути, но окружающие люди и обстоятельства держат меня, зацепившись за мою кожу. Я не бог, я не бог, я бываю сильна, когда нужно и можно *действовать*, только в *поступках*, в *деятельности* единственное мое спасение. Без этого я бы умерла. Это, быть может, тоже своего рода темперамент, кот<орый> сильнее меня. И благодаря тому, что я женщина, у меня чувствительная кожа, и благодаря тому, что люди привыкли ни в чем не щадить меня, рассчитывая на мою

выносливость, или просто из жестокости — я трачу столько физических сил, что мое физическое равновесие нарушается... Я Вам буду самым нежным, заботливым и не эгоистичным другом, п<отому> ч<то> в сердце у меня страшно много любви, но и Вы помогите мне — помогите мне *успокоиться* и будьте снисходительны: это так важно. И поймите то, что за последние дни Вы тоже перестали, каж<ется>, понимать: что меня не надо считать каким-то броненосцем, который устоит 80 лет против *всякой* непогоды... Когда-то Вы написали мне трогательное стихотворение:

«Нет, милый друг, я не берусь
Пытать умом твой ум пытливый
И охлаждать твои порывы...»[3]

Но теперь Вы иной, старше, и я иная. Возьмитесь за это теперь, и Вы увидите, какую мы устроим в редакции чудную обстановку, и атмосферу для самой прекрасной и возвышенной работы. И я буду Вам самый надежный и верный друг. Вот — целое письмо! [Здесь] страшная тоска. И не работается. Мысли хлещут и «кровь полируется». Л. Г.

Конверт: Ville Flore / 27 / M-eur Wilenkine

[1] Датируется по содержанию.

[2] «Très chagriné impossible faire autrement» (*фр.*): Очень огорчен невозможно сделать иначе. — Ответ Толстого на телеграмму Гуревич (28 февр. 1895 г.) с просьбой опубликовать заявление, что право на публикацию «Хозяина и работника» в других изданиях вступит в силу через несколько месяцев после публикации в «Северном вестнике»; опубл.: *Толстой Л.* Полн. собр. соч.: в 90 т. Серия третья: Письма. Т. 68: Письма 1895 / подг. текста и комм. А. С. Петровского. М.: Гослитиздат, 1954. С. 39.

[3] См. п. 7.

51. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

<Монте-Карло, март 1895>[1]

Бедный друг мой, это ужасно, что вы болеете. Завтра же едем к доктору. Через полчаса буду у Вас, приду с Илиадой[2]. Если у Вас есть рецепт, я сегодня же доставлю Вам лекарство.

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 2, 3.

[1] Прим. Гуревич, карандашом: «От Н. М. Минского, Монте-Карло, март 1895».

[2] «Илиада» Гомера в переводе Н. Минского вышла в свет в 1896 г. в московском издательстве К. Т. Солдатенкова. В отличие от перевода Н. И. Гнедича (1829), который с целью архаизации языка широко использовал славянизмы, Минский осуществил перевод на основе современного русского языка. В. Я. Брюсов 20 мар-

та 1896 г. писал к П. П. Перцову: «Больше всего меня расстроил перевод Илиады. Он *очень плох*. <...> В переводе Гнедича есть стиль, есть цельность. У Минского этого *нет*» (Литературное наследство. Т. 113: Валерий Брюсов и Петр Перцов. Переписка 1894—1911 гг. / сост., вступ. ст., публ. и комм. А. В. Лаврова. М.: ИМЛИ РАН, 2023. С. 166).

52. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Конец марта (начало апреля) 1895 г.>[1]
Вена
Мартобря[2] неизвестного числа

Дорогой Николай Максимович*,

Пишу из Вены, ощущая еще не остывшее тепло разлуки. Зинаиде Афанасьевне пишу о своем путешествии и не совсем пристойном поведении[3]. Вам же хочу сказать просто несколько нежных слов. Впрочем, мне хотелось бы еще раньше описать Вам, — но не в письме, а на словах, какая была хорошая дорога до Милана. Вы знаете — сначала дорога идет все вдоль реки по высокому берегу, между горами. В долине у речки — фабрики и селения, и сквозь голубоватый туман там мигали красные огоньки. Потом совсем стемнело, местность изменилась, стала ровной, и при мягком свете молодого неполного месяца видны были еще неодетые деревья, нежные и прозрачные...

В Милане я переменила поезд и до Венеции спала. В Венеции разбудили — надо было менять поезд еще раз. Когда я вышла на платформу и спросила: «è Mestri?», a pachino (?) ответил мне: «no, è Venezia, signora»[4], — при звуках *Venezia* в итальянском произношении, мне стало так больно, что я не могу остаться там и видеть еще этого — и еще много других мест, и еще чего-то прекрасного, чего, мож<ет> быть, нет в Венеции, и нигде в мире... До Mestri я смотрела в окно и при слабом, сером расцвете, даже без розовых бликов в небе, видеть лагуны и лодки, похожие на гондолы, и у меня щемило сердце... Потом пошла проза — плохой вагон, теснота и беспокойная дремота. Потом уж пошел всякий вздор, окончившийся приездом в Вену, о чем пишу Зинаиде Афанасьевне...

Ну так вот, когда я ехала до Милана, я вспоминала и думала о Вас. Вы знаете — первую половину дороги думают преимущественно о тех, кого оставляем, вторую — преимущественно о тех, к кому приближаемся. Впрочем, я думала именно о том, что и приближаясь, и приблизясь к тем, к кому я еду и кого беспредельно люблю, я буду чувствовать к Вам эту новую, сильную и нежную привязанность, к<а>к что-то новое, но дорогое, вошедшее в жизнь, к<а>к радость. Дружба — какая бесконечная радость, какое утешение, какая опора, какое сокровище! Если бы Вы лучше еще понимали меня, Вы бы не сомне-

* Я все еще не могу мысленно усвоить, что Вы Николай, да еще Максимович. Надо будет как-нибудь окрестить Вас по-своему! — *прим. Л. Я. Гуревич.*

вались ни на минуту в том, что мне бесконечно *нужна* и дорога Ваша дружба. Когда мне говорят, что во мне много энергии (я очень дорожу похвалой, м<ожет> б<ыть> потому, что не только меня редко хвалят, но мне самой к<а>к-то не приходилось совсем хвалить себя даже в тайне души) — я думаю про себя: увы, во мне гораздо больше нежности и любви, чем энергии, — нежности, нежности без границ, какой-то ни в чем достаточно не изливающейся, какой-то невоплощенной нежности, чего-то, что делает «энергичного» человека уязвимым и глубоко страдающим от всего окружающего, хотя бы в душе было все светло, твердо и просто... Мне право некогда думать о том, для чего собственно я создана и к чему особенно способна, не думаю только, знаю и чувствую, что я больше всего, гораздо больше, чем другие, умею любить — со всеми оттенками различных родов привязанности, но совершенно неограниченно по отношению ко всякому человеку, к которому я привязана. И я думаю, право, что Вам пригодится моя дружба, твердая, к<а>к камень, и нежная без конца. Приезжайте в СПб. Я уверена, что, когда Вы повидаетесь с Ак<имом> Льв<овичем>, Вы увидите, к<а>к он Вас любит, и мы создадим себе свой мир, не похожий на жизнь, мутную и больную, русских литераторов.

Ваш дядька Люба

<Приписано на первом листе сверху слева:> В Тироле, между грудами тающего снега, росли такие чудесные крупные белые и розовые анемоны!

<Приписано на первом листе сверху справа:> Только что получила Ваше письмо, но мое было написано раньше.

Конверт: Заказное
Италия. Генуя.
Г-ну Виленкину
Italia. 10 Via del Prato di S<an> Martino
Pension Laurens
Firenze
Via St. Sebastiani, Albergo della Confidenza
Nobilissimo Signore Nicola Wilenkine

[1] Датируется по содержанию. См. письмо З. Венгеровой к Балаховской-Пети от 3 апр. 1895 г., в котором она, в частности, описывает совместный с Минским и Гуревич отдых в Оспедаллетти (Ospedaletti): «...мы провели вчера какой-то дикий вечер в полу-спиритическом сеансе: блюдечко, на котором мы втроем (Люба, я, Н<иколай> М<аксимович>) держали пальцы, еле касаясь его; пальцы прыгали, как угорелые, по листу бумаги с алфавитом и выстукивали удивительные ответы на все наши вопросы, и вообще поэтические изречения; просто жутко становилось. / Вот видишь, как русские литераторы проводят досуг: между сеансами с блюдечком и поездками на “Карлову гору” (как мы называем Monte-Carlo за tabler’отом, чтобы соседи не понимали). А как мы славно продулись тогда, когда я отправила

тебе mandat. Теперь зато конец: играть не с чем. / Разнообразия здесь у нас мало: в качестве событий фигурировала поездка Любы в Ниццу к матери Башкирцевой. Она вчера вернулась с массой интересных подробностей о Башкирцевой, с любопытными перепискаами Мопассана с Башкирцевой, которая до конца осталась для него псевдонимом, как он ни добивался узнать, кто она. Письма Мопассана крайне интересны — все это конечно будет напечатано в Северном вестнике» (Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети / Publication, commentaries et notes de Rosina Neginsky // Revue des études slaves. T. 67. Fask. 1. P. 235). В письме упоминается — Мария Степановна Башкирцева (урожд. Бабанина), мать диаристки. Публикация упомянутых писем состоялась, см.: Переписка Мопассана с Башкирцевой. Перевод с неизданных автографов // *СВ*. 1895. № 11. С. 75—94.

[2] Отсылка к Поприщину — герою повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834).

[3] Письмо не сохранилось.

[4] «è Mestri?", a pachino ... no, è Venezia, signora» (*um.*) — Это Местри? — нет, это Венеция, сеньора. (Mestre (Местре) — пригород Венеции.)

53. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
Спб. *1895* года *Апреля 7* дня

Дорогой друг,

Пишу наспех, только несколько строк. Я не знаю, что Вы можете думать о моем слишком долгом молчании (хотя ведь Вы не пишете, несмотря на полную свободу и досуг). А между тем я на эту неделю совсем испортилась, с первого же вечера простудилась и попала, к<а>к я и ожидала, в ужасную переделку в смысле разных дел. Простуда сделала из меня какую-то куклу. Охрипло горло, охрипли руки, мозг, чуть что ни душа! Все стало тяжелым, и сознание окружилось каким-то туманом. Это неудивительно: в Вене была чудная весна, до Вильны не было снега, а я запрятала свою шубу, а в СПб. меня встретил резкий бесснежный мороз. В первый день праздника повалил мокрый пухлый снег, тающий и оставляющий на улице грязные пятна. Так встретила меня природа, и я сейчас же испортилась. Трудно стало думать и действовать, хотелось лежать. А дел накопилось столько, что голова идет кругом. Завтра же я должна ехать в Москву. Одно утешение — меня на этот раз как-то очень хорошо встретили, и я невольно подумала, что м<ожет> б<ыть> я была жестоко не права, обвиняя кого-либо в том, что меня не щадили во время моего пребывания за границей. Акима Львовича я нашла больным — у него была сильная инфлуэнца с жаром, и он, изнуренный работой за двоих в редакции (я знаю ей цену на основании лета), был похож на привидение. Но несмотря на это, он оказался таким бодрым, милым и светлым, каким уже давно не был: работа его подходит к концу, и к 21-му он хочет поднести мне с посвящением свою книгу, предназначенную для изда-

ния[1]. Вы должны простить его, мой друг, за то, что он Вам не ответил. Письма — его самое слабое место, особенно серьезные письма к друзьям, я это знаю много лет. Он относится к Вам по-прежнему, и когда Вы приедете сюда, к нам, чего я с нетерпением жду, Вы почувствуете себя среди своих людей. Приезжайте, к<а>к только станет лучше погода — я Вам телеграфирую. Теперь еще ужасно, и испытав на себе всю тяжесть этой гадкой петерб<ургской> серости и холода, я не смею звать Вас сейчас. Я просила Арабажину подождать Вашего приезда, я ей не могла не ответить на вопрос, кто будет ее «преемником»[2]. Мое письмо было достаточно нежно написано, чтобы не оскорбить ее, и мы встретились с ней как нельзя нежнее. Но Боже, до чего она оказалась ужасным секретарем за время моего отсутствия!

Вот что, однако, всего интереснее и серьезнее. Я еще не была у Белы[3]. Я собираюсь к ней сегодня. В Вене мне сказ<али>, что она с сестрой собиралась в конце апреля в Швейцарию с сестрой <так в тексте>[4]. В день же моего приезда (приблизительно) обратилась с письмом к Ак<иму> Льв<овичу>, спрашивая у него Ваш адрес. Ак<им> Л<ьвович> ответил, что не знает. Я увижу ее — и конечно, должна буду сообщить ей Ваш адрес. Если она хочет написать Вам, было бы бесчеловечно препятствовать ей в этом, не правда ли. После свидания с ней напишу Вам специально об этом свидании.

Пишу под говор вокруг меня. Это делает мое письмо каким-то мертвенным. Но Вы мой друг, *не смейте* сомневаться в своем дядьке, который никогда не был поверхностным и легкомысленным в своих отношениях с людьми. Также прошу Вас — уже в более скромном тоне (!) — не забывать Вашего дядьку, не менять о нем мнения и не разжаловать его из дядек в какие-нибудь обыкновенные знакомые!

Напишите непременно скорее. Пишу под стрекотанье Арабаж<иной> и Петрова[5]. Посылаю книги З<инаиде> А<фанасьевне>. Скажите ей от меня, что я ее очень благодарю за знакомство с Fl<ах> и ее сестрой[6]. Ее сестра премилая, премилая и такая умненькая. Пишите же, гадчайший ч<е>л<ове>к!

Ваш дядька Шмуль

<Приписано на первом листе:> Сергей[7] подсунул мне какую-то грязную бумагу, что за гадость! Извините. Пришлите стихи для Се<ерного> В<естника>.

---

[1] Имеется в виду рукопись будущей книги А. Волынского — «Русские критики» (СПб.: тип. М. Меркушева, бывш. Н. Лебедева, 1896).

[2] *Арабажина Наталья Викторовна* (урожд. *Деген*, 1868—1924; в первом браке — жена историка К. И. Арабажина, во втором (гражданском) — кн. М. Н. Волконского) — переводчица (с фр., нем., англ. и др.); в 1892—1899 гг. преподавала французский в Приюте принца П. Г. Ольденбургского, затем в Гимназии и Реальном училище Я. Г. Гуревича; в первой половине 1890-х гг. исполняла должность

секретаря редакции «Северного вестника»; в 1891—1898 гг. опубликовала в журнале ряд переводов (И. Франко, Р. Броутон, Г. Зудермана, Т. Гейнца), в том числе роман Г. Сенкевича «Крестоносцы» (1897. № 2—6; 10—12; 1898. № 1—12).

[3] 11 мая 1895 г. Гуревич писала Л. Н. Вилькиной: «Многоуважаемая Людмила Николаевна, Я была за границей вместе с Н. М. Виленкиным, моим старым знакомым, с которым мы, за время моего пребывания за границей, опять очень сблизились, — как друзья. Он очень много говорил мне о Вас и ввиду того, что все его рассказы о Вас вызвали во мне искреннюю и глубокую симпатию к Вашему образу, Н<иколай> М<аксимович> просил меня, перед отъездом моим, повидать Вас в СПб. и высказать Вам за него все то, что он говорил мне о Вас, в качестве друга, за глаза. Я не решилась бы на такое свидание с Вами, если бы Вы не стали мне заочно близки» (РО ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 851, л. 1).

[4] Мать Л. Н. Вилькиной *Елизавета Афанасьевна Вилькина* (урожд. *Венгерова*) приходилась родной сестрой С. А., З. А. и И. А. Венгеровым. Здесь имеется в виду *Изабелла Афанасьевна Венгерова* (см. прим. 1 к п. 47).

[5] *Петров Митрофан Петрович* (псевд.: *П. К.; Петропавловский М., Ст-валь М., Стиваль М., Струйский М., Хохлов М.*) — публицист, сотрудник «Северного вестника», в 1894—1895 гг. систематически печатал в журнале очерки по вопросам земской политики и российской окраины, редактировал раздел «Внутреннее обозрение». Вследствие ряда рабочих конфликтов с Гуревич в апреле 1896 г. вышел из журнала, см. об этом ее письма к нему: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 72.

[6] Имеются в виду: близкая приятельница П. Ю. Венгеровой (матери З. А. Венгеровой) — *Луиза (Луиза Марковна) Фокшанеану* (с 1892 г. — *Флакс-Фокшанеану*; 1863—1920), переводчица русских авторов (Н. Минского, Л. Толстого, Чехова) на немецкий язык (сведения взяты из ст.: *Азадовский К. М.* Венский акцент: Федор Сологуб и его переводчик // Русская литература. 2020. № 1. С. 123); сестра Венгеровой — Изабелла (см. прим. 1 к п. 47).

[7] Сотрудник конторы «Северного вестника».

54. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

Firenze, pension Gintti
Вторник, 7 мая <18>95 г.

Друг мой неверующий, поймете ли Вы, как Вы мне сделали больно своим письмом к З<инаиде> А<фанасьевне>?[1] Меня огорчило не только то, что Вы во мне сомневаетесь, но и то, что Вы способны сомневаться. Когда другие говорят о моей «зыбкости», я знаю, что они не могут говорить иначе, потому что в них самих нет ничего незыблемого и вечного. Но зачем Вы подражаете этим другим, Вы, перед кем мое сердце открыто, кто мне так близок и дорог?

Верьте мне, я почти не понимаю, как можно менять свое отношение к людям, кого хорошо знаешь. Можно вначале не разглядеть человека, и это, к сожалению, со мною часто случается. Но неужели Вы не поняли, что дружба, заключенная между нами этой весной, имела глубокие корни в прошлом, что внутренне признание Вашей силы и правды живет во мне много лет и что только поэтому случайная как будто бы встреча могла привести к таким результатам? Ни изменять,

ни меняться я не могу, разве я перестану когда-нибудь тяготеть <?> к правде и любить красоту. Надеюсь, этого никогда не будет.

Меня ужасает мысль, что, если бы Вы в самом деле усомнились во мне, Вы бы не стали говорить об этом, хотя бы из чувства гордости. Но молю Вас, друг мой, никогда, ни на словах, ни мысленно не подвергайте моей дружбы испытаниям. Верьте мне безусловно, как я Вам буду верить. И не будьте ни холодны, ни тепловаты, ни даже теплы, потому что только огонь дает жизнь, а скрытый огонь Вашей души мне нужен не менее жизни.

Сужу по письму, что Вы в последнее время много хлопотали и волновались. Не спрашиваю, в чем дело, потому что скоро буду с Вами, — жду только денег из Москвы. По получении этого письма телеграфируйте мне о погоде. Постараюсь повидать Белу. Я ей не писал только потому, что был уверен, что Вы давно ее видели.

Продолжаю здесь изучать живопись 15 века, читаю о людях того времени и все с большим изумлением открываю общие черты между тем временем и нашим. Вы себе представить не можете, насколько Вы и Аким Львович связаны с ренессансом. И мне кажется, что в этом залог Вашего близкого и большого успеха, в котором я ни на минуту не сомневаюсь.

До скорого свидания. Навсегда Ваш

Н. Виленкин

В последнее время, благодаря случаю, познакомился с кружком здешних поэтов. Стихи их (Mazzoni, Orvietto, Marrodi)[2] на весах бессмертия не много весят. Сегодня увижу критика. Всеобщий идеал — Кардуччи[3]. Д'Аннунцио[4] более известен как поэт, чем романист. Любопытно то, что итальянцы совсем не понимают значение своего ренессанса и, гоняясь за ясностью, отвергают, как исторические бредни, то, что нам кажется истинной красотой.

Печ. по: РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 153, л. 4—5.

[1] Упомянутое письмо Гуревич к Венгеровой неизвестно. В это время Венгерова находилась в Италии вместе с Минским, однако ранее, 3 апр. 1895 г. (еще во время пребывания вместе с ними Гуревич) она сообщала подруге: «Весьма возможно, что мне придется уехать из Италии, не доехав до Рима, и вернуться в Россию, если так сложатся дела Николая Максимовича. Я приехала сюда для него и знаю, что не могу оставить его именно теперь без себя» (Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети / Publication, commentaries et notes de Rosina Neginsky// Revue des études slaves. T. 67. Fask. 1. P. 235).

[2] Итальянские писатели-модернисты, сформировавшиеся под влиянием Дж. Кардуччи: *Маццони Гвидо* (*Mazzoni*; 1859—1943) — поэт, критик; профессор итальянского языка, с 1894 г. преподавал во Флоренции; *Орвиетто Анджело* (*Orvietto*; 1869—?) — писатель; знаток итальянской литературы, журналист, возглавлял журналы «Vita Nuova», «Nazione letteraria», основатель популярного ежене-

дельника «Il Marzocco»; активист Общества истории итальянских евреев; *Марради Джованни* (*Marradi*; 1852—1922) — поэт и литературный критик.

[3] *Кардуччи Джозуэ* (*Carducci*; 1835—1907) — выдающийся итальянский поэт, литературный критик, литературовед.

[4] *Д'Аннунцио Гаэтано* (*D'Annunzio*; 1863—1938) — итальянский писатель, поэт, драматург, политический деятель; в «Северном вестнике» печатались романы д'Аннунцио: «Невинная жертва» (1893. № 5—10), в позднейших изданиях под заглавием «Невинный»; «Торжество смерти» (1894. № 9—12) — оба в переводе М. М. Иванова; повесть «Епископ и К°» в переводе Н. Арабажиной (1894. № 6—7).

55. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>
Спб. 189*5* года *Июля 10* дня

Дорогой Николай Максимович,

Имею к Вам ряд просьб. <Далее — карандашом.> Пожалуйста, исполните, а то я должна была сама для этого поехать в город.

1) Подпишите к печати листы, в кот<орых> будет Антокольский[1] и Дмитриева[2].

2) Напишите открытку Соллогубу <так!> (его дачный адрес в книге на букву С.), что я извиняюсь перед ним за то, что не выслала ему денег: конторщицы не было, и пакеты не были распечатаны[3]. Пусть бы он пришел в среду поговорить о корректуре и взять деньги.

3) Пошлите в типографию прилагаемую тетрадь Соллогуба <так!>[4].

4) Скажите Сергею, чтобы *сегодня же* сходил в богадельню на Охту к старой няне, снес от меня 1 рубль и сказал ей, что я при первой возможности непременно к ней приеду.

5) Скажите конторщице, что я прошу выдать 15 р. Статуеву[5] (последите сами за тем, к<а>к она там пропишет в книге гонораров, ей не приходилось этого делать) и корректорше Гинкен[6] 40 руб.

Простите, что нагружаю Вас поручениями и благодарю Вас горячо за то, что Вы даете мне возможность посидеть хоть немного в Павловске или, что важнее, в романе[7].

Ваш верный друг Л. Г.

<Приписано на первом листе:> Извините, я написала на листке испорченном[8], и переписывать нет сил и времени.

---

[1] *Антокольский Марк Матвеевич* (1840—1902) — скульптор, академик (1871), с 1880 г. профессор Императорской Академии художеств. Речь идет об очерке «Об искусстве. (Посвящаю Э. К. Коцебу)», опубл.: *СВ*. 1895. № 8. С. 1—11.

[2] *Дмитриева Валентина Иововна* (по мужу *Ершова*; 1859—1947) — прозаик, детская писательница; участвовала в деятельности группы, связанной с «Народ-

ной волей»; в 1880 г. за хранение нелегальной литературы подверглась заключению в Петропавловской крепости, освобождена под негласный надзор полиции; позднее — член эсеровской партии; печаталась в «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Русском богатстве» и др. В «Северном вестнике» опубликовала повести «Гомочка» (1894. № 8—10) и «Не по правде» (1895. № 6—8).

[3] Письмо неизвестно.

[4] Речь идет о романе Ф. Сологуба «Тяжелые сны», который в июле 1895 г. начали печатать в «Северном вестнике».

[5] *Статуев Ефим Сергеевич* — автор очерка «Из детских воспоминаний крестьянина», опубл.: *СВ*. 1895. № 7. С. 99—114; публикация сопровождена редакционным примечанием: «Печатаемый нами очерк, обративший на себя внимание безыскусственностью языка и свежестью в воспроизведении впечатлений, правда, несколько отрывочных — принадлежит крестьянину Орловской губернии Е. Статуеву. *Ред*.» (с. 99).

[6] Неустановленное лицо. Возможно, *Гинкен Антон Антонович* (псевд.: Г-кен А., Кен А. Г.; 1847—1913) — музыковед.

[7] Лето 1895 г. Л. Я. Гуревич жила на даче в Павловске совместно с З. А. Венгеровой и Н. М. Минским.

[8] Письмо записано карандашом, на обороте — фрагмент рукописи рассказа Л. Гуревич «В снега» (впервые: Мир Божий. 1902. № 10. С. 35—63; вошло в сб. «“Седок” и другие рассказы» (СПб., 1904. С. 216—262).

56. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Октябрь 1895 г.>[1]

Спб. Троицкая 9.

Милый Николай Максимович,

Будьте здоровы! Посидите дома, отдохните и кончайте скорее Илиаду![2]

Нет ли у Вас стихов для ноябр<ьской> книжки?[3] Мне оч<ень> хотелось бы, чтобы они были — Вы знаете, что я искренно (тоже хорошее словцо, ставшее почти синонимом противоположного!) люблю Ваши стихотворения. Поищите их хорошенько в ящике готовых вещей или в голове рифм!

Пришлите, пожалуйста.

Во вторник буду у З<инаиды> А<фанасьевны> непременно.

Вчера легла в 7½ ч. утра, встала в 11 ч. и чувствую себя довольно астрально!

Все-таки дядька, хотя и состоящий в отставке!

Конверт редакции «Северного вестника» (Спб., Троицкая 9):

Н. М. Минскому

Колокольная 2

<На обороте:> le grand mystère de 3 déesses (*фр.*)

[1] Датируется предположительно, по косвенным признакам.

[2] См. прим. 2 к п. 52.

[3] В ноябрьской книжке журнала за 1895 г. стихи Минского не публиковались, в октябрьском номере был напечатан цикл «Сердечные мотивы» из трех стихотворений («В душе моей, счастием бедной...»; «Волна»): *СВ*. 1895. 10. С. 214; в декабрьском — «Сонет» («Горы покрылись вуалью...»): *СВ*. 1895. № 12. С. 192.

57. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Декабрь 1895>[1]

Спб., Троицкая 9.

Дорогой поэт,

Хоть Вы были так величественны, что нашли мой jour-fixe провинциальным и смешным, и хотя сегодня будет во всяком случае не более весело — почти никого не будет собственно — только Чуйко, Екат. Павл. Султанова[2], мож<ет> б<ыть> Боборыкин, но по весьма естественному чувству, а именно из желания видеть Вас (в сущности, ведь днем я совсем не существую — разве в каком-нибудь «астральном» состоянии!), — зову Вас. Если много работы, зайдите хоть ненадолго[3].

Ваш все-таки* друг

Л. Г.

* Ведь Вы только смутно помните меня, ибо астральное существо — что за человек!

---

[1] Датируется предположительно.

[2] *Леткова* (в браке — *Султанова*) *Екатерина Павловна* (1856—1937) — писательница, переводчица мемуаристка; активистка Литературного фонда; приятельница Л. Гуревич (письма к Гуревич 1892—1912 гг.: РО ИРЛИ, № 20100); подруга П. Д. Боборыкина; в «Северном вестнике» опубликовала рассказы «Любовь Бальзака» (1894. № 4), «Праздники» (1895. № 7) и переводы (с ит.) — роман Матильды Серао (*Matilde Serao*) «Прощай Любовь» (1890. № 9—№ 12), ее же «Маленький роман» (1893. № 4); новеллу Дж. Верги (*Giovanni Verga*) «Недда (Из сицилийской жизни)» (1890. № 6); участвовала в редактировании перевода «Записок» А. О. Смирновой.

[3] Минский посещал журфиксы Гуревич. П. П. Перцов вспоминал: «На одном из таких журфиксов, в декабре 1895 г., Минский прочел свою поэму “Холодные слова”. <...> прочтение поэмы взволновало сердца и возбудило уже совсем не “холодные” прения. Особенно яростно нападал на Минского Льдов — поэт, “по ошибке считавший себя философом”, как я определял его Брюсову» (*Перцов П. П.* Литературные воспоминания 1890—1902 гг. / вступ. ст., сост., подг. текста и комм. А. В. Лаврова. М.: Новое лит. обозрение, 2002. С. 168); см. также: Литературное наследство. Т. 113: Валерий Брюсов и Петр Перцов. Переписка 1894—1911 гг. С. 145 (письмо к Брюсову от 18 дек. 1895 г.). Поэма «Холодные слова. Рождественская фантазия» была напечатана в январском номере «Северного вестника» (*СВ*. 1896. № 1. Отд. I. С. 1—5). Упоминается *Константин Льдов* (см. прим. 57 к вступ. статье).

58. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

<Декабрь 1895>[1]

Дорогая Любовь Яковлевна,

Вчера вернулся домой и прочел Вашу записку в половине второго. Жалею (забудьте, что этим словом часто прикрывается равнодушие), искренно жалею, что не привелось видеть Вас вне редакционной суеты. Надеюсь, во вторник провести с Вами вечер у З<инаиды> А<фанасьевны>. Я к Вам отношусь, как прежде, и, если бы Вы нуждались в моей дружбе, Вы бы убедились, что я Вам друг.

Сердечно Ваш
Н. Виленкин

Сегодня и завтра намерен провести дома. Так схватил бронхит, но на сей раз легкий, и скоро надеюсь оправиться. Если есть что-нибудь срочное <?> в редакции, пришлите мне на дом. Как Вам не стыдно попрекать меня моей «величественностью». На меня Яв<орская>[2] и Щ<епкина-Куперник> произвели в первый раз впечатление комически-провинциальное[3]. Причем тут Вы и Ваш жур-фикс? Не подражайте другим, не будьте ко мне несправедливы.

Печ. по: РО ИРЛИ, № 20003, л. 12.

[1] Датируется по содержанию, см. п. 60.

[2] *Яворская Лидия Борисовна* (урожд. *Гюббенет*, в первом браке — *Борисова*, во втором — княгиня *Барятинская*, третьем — *Полок*; 1871—1921) — драматическая актриса. Выступала в московском театре Ф. А. Корша. В 1895 г. по рекомендации А. П. Чехова была приглашена А. С. Сувориным в петербургский Театр Литературно-артистического кружка. В 1896 г. вышла замуж за князя В. В. Барятинского, вместе с ним открыла Новый театр (1903), известный как Театр Яворской.

[3] *Щепкина-Куперник Татьяна Львовна* (1874—1952) — писательница, переводчица, драматург; печаталась в «Северном вестнике». Ср. характеристику З. Венгеровой в письме к Балаховской-Пети от 26 окт. 1895 г.: «Познакомилась я недавно с одной твоей Киевской знакомой — Щепкиной-Куперник. Она для своих лет почти феномен. Она здесь живет с актрисой Яворской, с которой повсюду появляется вместе. Про этих двух “подруг” идут самые грязные и, кажется, совершенно основательные сплетни. Но обе они производят впечатление чего-то пошлого, что нет ничего слишком для них грязного. Яворская — красавица (поразительно похожа на Мережковскую), Щепкина пикантна и на другой вкус может нравиться, они обе очень энергичны, хлопочат <так!> об устройстве “Theatre libre” <Свободного театра> и при помощи содействия им Нового времени, может быть, добьются своего» (Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети / publication, commentaires et notes de Rosina Neginsky // Revue des études slaves. T. 67. Fask. 2—3. P. 459). См. также прим. 4 к п. 67.

59. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Декабрь 1895>[1]

Спб. Троицкая 9.

Дорогой Николай Максимович,

Днем я ходила по разным местам без калош и так промокла, что за неимением другой обуви должна сидеть дома и греться и сушиться. Я поэтому не могу придти сегодня. Будете ли Вы дома завтра в 4½ дня или часов в $7^{1}/_{2}$ или 8 вечера? Я хочу поговорить с Вами непременно у Вас — здесь нет возможности говорить по-человечески, эта обстановка — с ежеминутным вторжением в жизнь конторы — убивает все человеческие настроения. Меня донельзя волнует, тревожит и огорчает тот сегодн<яшний> короткий и прерванный другими разговор. Вы говорили со мной, как с *чужим* человеком, как человек, защищающий свои права и свое самолюбие, говорили с внешней точки зрения, холодно и резко, о вещи невинной и требовавшей только пятиминутного обмена мыслей и сообщений при сколько-нибудь подходящих обстоятельствах, т. е. при обстановке, не абсолютно угнетающей мой мозг. Вы говорили, к<а>к оскорбленный «сотрудник», тогда как никто Вас таким не считает, и не понимаете, что в *таком деле*, где всякое слово остается неизгладимым, всякий из нас имеет право и даже обязанность задержать на время какие-ниб<удь> строки другого, если пришли какие-ниб<удь> новые сведения, что другой ошибся. Само собою ясно, что об этом нужно было сказать Вам и поговорить — это-то именно и могло быть целью задержания заметки[2], но ведь разговор, возбудивший мое сомнение, велся только в субботу Боборыкиным, и проверка была сделана мною только на понедельник (с тех пор мы не видались). О дне, когда я сказала в типографии, что эту заметку надо отложить, можете навести справки в типогр<афии>: Вы так недоверчивы и раздражительны последнее время!.. Но я хотела погов<орить> с Вами о том, как бы устроить иначе наши редакц<ионные> свидания — чтобы мы имели возможность говорить и вместе разрабатывать действ<ительно> серьезные и ответств<енные> вопросы. Теперь — что-то не то, что надо. Ради Бога, поймите, что Вы — *ошиблись*, говоря со мною в таком тоне и стиле. Я во многом обвиняю себя, к<а>к ч<е>л<ове>ка, стоящего не на высоте своей задачи и своих понятий, но только уж по отношении к Вам я *ни в чем* не виновата, менее же всего в каком-ниб<удь> непочтительном или небрежном отношении к Вам и к Вашим произведениям. Я знаю, что, видя меня в моей подлой *служебной* жизни, в этой безобразной сутолоке, люди перестают даже *помнить* меня, теряют прежнее воспоминание и понятие. Но Вы — так скоро! Недаром я чувствую себя ч<е>л<овеко>м, созидающим собственную теперешнюю жизнь в ее внешних проявле-

ниях — только к<а>к-то из-за могилы... Верно, судьба хочет, чтоб я до дна выпила эту чашу горечи.

Ваша ЛГ

---

[1] Датируется предположительно, по археографическим признакам.

[2] О какой заметке Н. Минского идет речь — неясно.

60. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

<Ноябрь — Декабрь 1895>

Верно, дорогая Любовь Яковлевна, что все было так, как Вы пишете. Мне бы так легко было отказаться от этой заметки по выслушивании Ваших соображений и так мучительно было узнать неожиданно о ее исчезновении.

Буду рад видеть Вас завтра в $4^1/_2$ и в 8 ч. вечера — как Вам удобнее.

Искренно Ваш

Н. Виленкин

Печ. по: РО ИРЛИ, № 20003, л. 9.

61. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

<Ноябрь — Декабрь 1895>[1]

Дорогая Любовь Яковлевна,

В ответ на Ваше письмо решил поговорить с Вами. Как жаль, что не застал. Многое в Вашем письме меня удивило и огорчило, а всего более то, что Вы расстроены и думаете, что Вы для меня «безразличная человеческая личность». И мое отношение к А<киму> Л<ьвовичу> далеко не таково, каким оно Вам кажется. Вы в этом отношении меня не понимаете.

Что же касается того, что Вы называете «историей с заметкой», то мне неприятно лишь сознание, что я, очевидно, написал неудачную заметку, которую пришлось править. Ни о чем другом не может быть и речи. Мне показалось, как и Вам, что поправка сделана неудачно, или, может быть, недостаточно решительно. Вот и все. Никакой другой психологии во всем этом не ищите. Объясняю все тем, что Вам в последние дни не по себе. А то, право, не стоит огорчаться из-за таких пустяков.

Впрочем, переговорим завтра.

Ваш Н. М.

Печ. по: РО ИРЛИ, № 20003, л. 10.

[1] Датируется по содержанию.

62. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

1 янв<аря> 1896. Спб., Троицкая 9.

Дорогой Николай Максимович,

Поздравляю Вас с Новым Годом. Желаю Вам... как можно больше вдохновенных минут в жизни и творчестве. Желаю Бэлочке всякого света, всего, что поможет ей окончательно найти себя, развить свои дарования[1]. Посылаю вам свои лучшие благословения...

Мы выпустили книжку. Очень жалко, что не могу ее Вам послать сейчас же (еще не прислали), ибо я горю желанием показать Вам, именно Вам.

Имею к Вам малую просьбу: если это Вам удобно, пришлите мне Библию, кот<орую> Вы у меня брали. Если хотите, потом могу вернуть.

До свиданья!

Когда же Бэлочка придет ко мне?

Преданная Вам

Л. Гуревич

---

[1] 21 сент. 1895 г. З. Венгерова писала С. Г. Балаховской-Пети: «Ты, кажется, интересуешься судьбой Беллы Вилькиной — она играет на клубной сцене. Кроме того, пишет недурные стихи и рассказы — может быть, из этого что-то выйдет. Если что-нибудь будет напечатано, пришлю тебе. В остальном она психопатствует по-прежнему и выглядит как смерть» (Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети / publication, commentaries et notes de Rosina Neginsky // Revue des études slaves. T. 67. Fask. 2—3. Paris, 1995. P. 459).

63. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

1 Янв<аря> <18>96 г.

Дорогая, сердечно любимая Любовь Яковлевна, примите поздравления мои и Белочки. Она благодарит Вас, на днях зайдет. Пришлите, пожалуйста, книжку, как только ее принесут, и подчеркните то, о чем желали бы узнать мое мнение[1]. У меня некоторая радость: вчера, наконец, написал последний стих Илиады![2]

Преданный Вам

Н. Виленкин

Печ. по: РО ИРЛИ, № 20003, л. 5

[1] Вероятно, речь идет о январской книжке «Северного вестника» за 1896 г., которая открывалась программной статьей Гуревич и Волынского «Идеализм и буржуазность» (Отд. I. С. I—VI). Гуревич вспоминала: «Программа журнала в те, первые годы, не была выражена в каком-либо подобии литературного манифеста;

она раскрывалась постепенно в руководящих статьях Волынского. Лишь позднее, в январской книжке 1896 г., мы нашли нужным формулировать некоторые пункты ее с возможной отчетливостью в нашумевшей заметке, написанной совместно Волынским и мною и напечатанной за нашими обеими подписями на первых страницах книги под заглавием “Идеализм и буржуазность”» (*Павлова М. М., Богомолов Н. А.* Из воспоминаний Л. Я. Гуревич о журнале «Северный вестник» // Литературный факт. 2021. № 1 (19). С. 19).

[2] См. прим. 2 к п. 52.

64. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<Февраль 1896>[1]

Милый Николай Максимович,

За эти дни для меня выявились некоторые очень серьезные и неприятные вещи относительно бюджета журнала. Один мой кредитор обанкротился вконец, и ему необходимо будет много выплатить совсем в этом же году, а т. к. скандалы остановили подписку[2], то нужно все напряжение и все ухищрения, чтобы как-нибудь прожить этот ужасный год. Это немедленно отражается на всех моих расчетах. Пока еще не все для меня ясно, но очевидно, что нужно будет жать книги до невозможности и не выходить в отношении гонораров за смету, составляющую $^{2}/_{3}$ прежнего. Я провела несколько прескверных праздничных дней в счетах и пересчетах. Для ближайшей книги вижу вот что: из сметы гонораров на апрельскую книгу остается всего 30 руб. Значит, на освобожденное для Вас место можно было бы пустить только перевод[3]. Рассудите сами, к<а>к знаете, что для Вас полезнее и естественнее и удобнее: подождать с Илиадой до майской книги или взять за эту стоит не обычный и приличный, а половинный гонорар. Я не могу победить обстоятельства относительно этой книги иначе, к<а>к откровенно сообщив Вам результат моих размышлений и счетов.

Дайте ответ через Петю[4] к<а>к можно раньше.

Ваша Л. Гуревич

---

[1] Датируется по содержанию.

[2] 1896 год начался для редакции «Северного вестника» серией скандалов.

1) В февральской книжке «Исторического вестника» Б. Б. Глинский опубликовал фельетон «Болезнь или реклама?», в котором дал обзор январского номера «Северного вестника», аттестовав руководителей и сотрудников журнала в стилистике издевательской карикатуры. Глинский объявил журнал «сумасшедшим домом» — «палатой № 6», рассадником эпидемии безумия, а Гуревич и Волынского хозяевами палаты безумцев — «...клиенты разместились по койкам. Знакомые все лица! Тут “сорокалетний молодой поэт” г. Минский, рядом г-жа Зинаида Венгерова, здесь же беспокойно вертящийся на месте г. Мережковский, бредящий то немецким философом Ницше, то декламирующий красивые, но безумные символические стихи, рядом с ним и объявившая себя “новым человеком” г-жа Гиппиус

(Мережковская), бессвязно лепечущая по адресу г. Волынского: “И вы, и я окружены врагами: тем отраднее встретиться друзьям”; <...> Тут же по обязанностям хозяйства присутствует и содержательница заведения Л. Я. Гуревич, которая, разгуливая по палате под руку с литературным “магом” палаты, исследующим “художественные и поэтические произведения изнутри”, сиречь с г. Волынским, громко выкрикивает: доверчивые русские люди, поддержите мою торговлю клиническим товаром!» и т. п. Вслед за общей характеристикой журнала Глинский дал персональные портреты сотрудников (о Волынском: «маньяк, он злой, завистливый, неблагодарный и трусливый журнальный деятель», «Урия Гип», и т. п.). Статья Глинского в наиболее «эффектных» фрагментах и филиппиках была растиражирована в библиографических и критических обзорах столичных и провинциальных газет.

2) Скандал с Н. Н. Шелгуновым, произошедший в связи с некорректной публикацией в февральской книжке «Северного вестника» части «Воспоминаний» Н. А. Тучковой-Огаревой (Главы X—XVII: *СВ*. 1896, кн. II, III, IV). См. вступ. статью; подробно: *Павлова М.* «Этот пресловутый плевок в лицо...»: из истории журнала «Северный Вестник» // New Studies in Modern Russian Literature and Culture: Essays in Honor of Stanley J. Rabinowitz. P. 117—137.

3) Публичный выход из журнала Л. А. Полонского, в знак протеста против курса «Северного вестника», декларированного Волынским и Гуревич в статье-манифесте «Идеализм и буржуазность» (*СВ*. 1896. № 1), см. о нем прим. 7 к п. 41. 8 марта 1896 г. Волынский писал Гуревич: «Вот человек непрошено распинался за меня в печати, расписывался в солидарности и вдруг оказался в какой-то принципиальной вражде с “Сев<ерным> вестником”» (РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 106, л. 80 об.). Вслед за ним после ряда рабочих конфликтов из журнала вышел Петров (см. прим. 5 к п. 53); см. письмо Гуревич к нему от 18 апреля: «...за эту зиму я видела от Вас очень много неприятностей, перечислять которые теперь не буду. Но если Вы, зная, что все силы должны были теперь сосредоточить на журнале (еще очень недавно Вы сами писали об этом, говоря “ведь креплюсь же я”), совершенно лишаете меня Вашей помощи и даже отказываетесь от личного объяснения, я чисто логическим путем должна прийти к убеждению, что все Ваши хорошие слова нужно считать пустыми фразами» и т. д. (РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 72).

[3] Перевод «Илиады» Н. Минского в «Северном вестнике» не печатался (см. прим. 2 к п. 52). В майской книжке журнала была опубликована его статья «Идея Илиады» (№ 5. С. 1—25). Здесь, вероятно, имеется в виду перевод пьесы М. Метерлинка «Аглавена и Селизетта», с предисл. Минского, опубл.: *СВ*. 1897. № 1. Отд. I. С. 57—122. Пьеса была переведена Л. Вилькиной совместно с Минским (в журнальной публикации ее участие не обозначено); впоследствии перевод печатался под двумя именами, см.: *Метерлинк М.* Полн. собр. соч. / в пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Пг.: А. Ф. Маркс, 1915. Т. 1—4.

[4] Служащий конторы «Северного вестника».

65. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<1896>[1]

Спб. Троицкая 9.

Дорогой Николай Максимович,

Не знаете ли Вы случайно, куда направил свой путь г. Мережковский, покинув СПб.? Он написал мне письмо, требующее ответа (ибо

в нем есть вопрос), но, когда оно было получено, его уже не было в СПб.: я послала ответ — сказали, что он уже уехал. Последовательно! Если бы вздумали зайти ко мне сегодня, Надя проведет Вас в мою квартиру, ибо я крепко расхворалась.

Ваша Л. Г.

Поклон Беле.

---

[1] Датируется предположительно.

66. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

11 февр<аля> <18>97 г.

Дорогая Любовь Яковлевна,

Мне бы весьма хотелось видеть свою поэму в Вашем журнале, но вынужден взять ее назад[1]: ждать без обозначения срока не могу. Пришлю Вам вскоре другие стихи, менее громоздкие, и, надеюсь, им больше посчастливится у Вас[2]. Отъезд мой опять отсрочен недели на две. Карнавала так и не увидим[3]. Можете представить себе отчаянье Белы, тем более что по ее же вине пришлось отложить отъезд. Надеюсь, до тех пор увидеть Вас. Может быть, встретимся завтра на бенефисе Яворской?[4]

Преданный Вам

Н. Виленкин

<Приписано на полях:> Оттиска поэмы мне не нужно: у меня сохранилась копия.

Печ. по: РО ИРЛИ, № 20003, л. 7.

[1] Предположительно речь идет о ранее запрещенной цензурою поэме «Гефсиманская ночь» (1884), которую в 1890-е гг. Минский предлагал различным изданиям; об истории публикации поэмы см. в комм. С. В. Сапожкова: *БП*. С. 370—373.

[2] В 1897 г. Минский напечатал в «Северном вестнике» стихотворения: «Шелест листьев» («Осенняя песня») — № 5. С. 80; «Перед луною равнодушной...»; Сонет («Над морем тишина. Вблизи и в отдаленье...») — № 12. С. 190; статью «Картины и эскизы И. Е. Репина» — № 2. С. 227—229.

[3] Имеется в виду отъезд в Италию, в феврале в Венеции проходит ежегодный карнавал.

[4] 12 янв. 1897 г. в Панаевском театре в бенефис Л. Яворской состоялось первое представление драмы А. Сильвестра и Э. Морана «Изеиль» (в пер. кн. В. В. Барятинского), в заглавной роли выступила Яворская. Сюжет драмы заимствован из легенды об одном из учеников Будды и куртизанке Вазавадатте (в драме ей дано имя Изеиль; роль была написана для Сары Бернар). В письме речь идет о спектакле, состоявшемся 12 февраля; см. газетный отчет: «Талантливая бенефициантка в исполнении этой трудной роли выказала и нервное воодушевление в общем,

и тщательную отделку деталей. Все выдающиеся драматические места были сыграны г-жею Яворской превосходно. <...> Бенефициантке было поднесено много цветов. Вызовы и аплодисменты, начавшиеся с первого же акта, продолжались потом без конца» (Новое время. 1897. 14 февр. № 7532. С. 4).

67. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<На бумаге «Северного вестника»>

Января 27 дня 189*8* года

Николай Максимович,

После Вашего ухода Аким Львович написал небольшое письмо Мережковскому — такое письмо, какое почти неизбежно нужно написать на его месте[1]. Конечно, и Вы не успокоились бы на каких-нибудь судах чести и т. п. общественных худосочных удовлетворениях, будучи грубо и нагло оскорбленным. Глупость ведь не смягчает наглости. Мережковский вернул письмо нераспечатанным. Мы долго говорили о том, к<а>к подобает людям поступать в таких случаях, но рассуждения — ничто по сравнению с живым чувством негодования и чувства права. Мережковского нужно заставить прочесть письмо — и я хочу это сделать. Хотя я женщина, но мне до этого нет дела. С этой пошлостью можно не считаться. Я пойду к Мережковскому и скажу ему, что он обязан прочесть письмо. Однако я хочу говорить с ним при свидетеле, и я прошу Вас быть таким свидетелем — пойти вместе со мною. Вы будете только свидетелем, ни за что не ответственным, и надеюсь — от такой роли Вы не откажетесь. Я хочу пойти к нему в 10 ч. утра. Прошу Вас зайти за мною — я на Вас рассчитываю.

Я сама скажу, придя, что просила Вас приехать со мною в качестве свидетеля. С Мережковским же я имею право разговаривать и у него на квартире, п<отому> ч<то> приду не оскорблять его, а объясниться с ним: приходится людям объяснять такие вещи — что нельзя обвинять человека и укрыться от его возражения.

Сообщите, могу ли я рассчитывать на Вас к 10 часам?

Ваша Л. Гуревич

---

[1] Переписка Волынского с Мережковским не сохранилось. Предположительно имеется в виду письмо Мережковского с уведомлением о разрыве отношений, содержавшее оскорбительные для Волынского комментарии. В 1897 г. он напечатал в «Северном вестнике» очерк «В поисках за Леонардо да Винчи» — 1897. № 9—12 (отд. изд. под назв. «Леонардо да Винчи»: СПб.: А. Ф. Маркс, 1899), в котором описал совместное с Мережковскими путешествие по городам Италии весной 1896 г. и дал узнаваемые характеристики спутников («старик-энтузиаст» — Мережковский; «юноша» — Гиппиус, любившая гендерные игры, и себя самого — ценителя искусства). 6 нояб. 1897 г. Мережковский писал о причинах разрыва П. П. Перцову: «...Флексер, не спросив меня, не предупредив, исключил мое имя и З<инаиды> Н<иколаевны> из списка сотрудников С<еверного> В<естника> на будущий год,

это после того, как он воспользовался всем моим материалом для статей о Леон<ардо> д<а> Винчи. Смердяковская у него сущность» (Письма Д. С. Мережковского к П. П. Перцову / вступ. заметка, публ. и прим. М. Ю. Кореневой // Русская литература. 1991. № 2. С. 172). По этому же поводу 23 нояб. 1897 г. Перцову писала Гиппиус: «Они <Гуревич и Волынский> нам до сих пор не отдали 200 рублей, да еще Любочка, узнав, что Д<митрий> С<ергеевич> не скрывает этого долга (когда, например, его спрашивают: вам тоже не платит С<еверный> В<естник>?), исключила его, без предупреждения, из числа сотрудников <...> и при этом денег все-таки не отдала. <...> Дела С<еверного> В<естника> ужасно плохи, но этих господ не жаль, честнее закрыть дело, чем таскаться по грязи» (Русская литература. 1991. № 4. С. 128 / публ. М. М. Павловой). Событиям предшествовал произошедший весной 1897 г. разрыв Гиппиус с Волынским (в 1895—1897 гг. они были связаны интимной дружбой), см.: Письма З. Н. Гиппиус к А. Л. Волынскому / публ. А. Л. Евстигнеевой и Н. К. Пушкаревой // Минувшее: исторический альманах. М.; СПб.: Atheneum, Феникс, 1993. [Т.] 12. С. 333—337; также в дневнике любовных историй Гиппиус «Contes d'amour», запись 30 дек. 1897 г.: *Гиппиус З. Н.* Дневники: в 2 т. Т. 1. С. 56—58.

68. Л. Я. Гуревич — Н. М. Минскому

<1901>[1]

Многоуважаемый
Николай Максимович!

Mercì, за поздравление — которое шлю Вам в свою очередь. Если можете, то, пожалуйста, приходите ко мне в Субботу вечером, я буду очень рада Вас видеть. С тех пор как Вы у меня были, я заболела и начинаю поправляться только теперь. У меня был перитонит, так что я все время лежала.

Страшно скучаю. Жду Вас в Субботу.

Уважающая Вас
Л. Гуревич

Конверт: Здесь
Его Высокоблагородию
Николаю Максимовичу Минскому
Галерная ул., д. № 20, кв. 55.

[1] Датируется по п. ш.: 2.1.1901.

69. Н. М. Минский — Л. Я. Гуревич

15/28 августа 1913
Париж, 32, rue George Sand

Дорогая Любовь Яковлевна,

Вам в скором времени представится прочесть поэму С. Рафаловича[1], которую он хотел бы напечатать в «Русской Мысли»[2]. Автор про-

сит меня обратить Ваше внимание на эту поэму. Делаю это потому, что стихи мне в самом деле понравились, и содержание их показалось глубоким.

Пользуюсь случаем, чтобы дружески пожать Вашу руку.

Искренно преданный Вам

Н. Минский

Печ. по: РО ИРЛИ, № 20003, л. 8.

[1] *Рафалович Сергей Львович* (1875—1944) — поэт, прозаик, драматург, театральный критик; один из поклонников Л. Н. Вилькиной. Вероятно, речь идет о поэме Рафаловича «Судный день», впервые: Русская мысль. 1914. Кн. VI. Отд. I. С. 116—123.

[2] В 1912—1914 гг. Л. Я. Гуревич заведовала беллетристическим отделом журнала «Русская мысль», издававшегося П. Б. Струве.

Библиографический список

1. *Блинова О. А.* «Серафита» Оноре де Бальзака и концепт тройственного союза у Гиппиус и Мережковского // Мережковские и Европа / под общ. ред. В. В. Полонского, ред.-сост.: Е. А. Андрущенко, О. А. Блинова, В. М. Введенская. М.: ИМЛИ РАН, 2023.
2. *Волынский А. Л.* Русские женщины / предисл., комм., публ. А. Л. Евстигнеевой // Минувшее: исторический альманах. М.; СПб.: Atheneum, Феникс, 1994. Вып. 17.
3. *Гречишкин С. С.* Архив Л. Я. Гуревич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978.
4. *Гуревич Л.* История «Северного Вестника» // Русская литература XX века / под ред. проф. С. А. Венгерова. М.: Мир, 1915. Ч. I. Т. II.
5. Дневник Алексея Сергеевича Суворина / текст. расшифровка Н. А. Роскиной, подг. текста Д. Рейфилда и О. Е. Макаровой. М.: изд-во «Независимая газета», 1999.
6. *Куприяновский П. В.* «Оглядываюсь на прошлое...»: журнал «Северный вестник» 1890-х годов и его литературная позиция. Воронеж: [б. и.], 2009.
7. *Минц З. Г.* Статья Н. Минского «Старинный спор» и ее место в становлении русского символизма // *Минц З. Г.* Блок и русский символизм: избранные труды: в 3 кн. СПб.: Искусство-СПб, 2004. Кн. 3: Поэтика русского символизма.
8. Ранние символисты: Н. Минский, А. Добролюбов. Стихотворения и поэмы / вступ. ст., подг. текста, прим. А. А. Кобринского и С. В. Сапожкова. СПб.: Акад. проект, 2005. (Новая Библиотека поэта).
9. Русские Modernen — Зинаида Гиппиус и Николай Минский (из писем Любови Гуревич к Эдгару Мешингу) / вступ. ст. и комм. М. М. Павловой и С. Рабиновича; подг. текста М. М. Павловой и К. В. Яковлевой // Русская литература. 2010. № 2.
10. *Толстая Е. Д.* Бедный рыцарь: интеллектуальное странствие Акима Волынского. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2013.

11. *Павлова М. М., Богомолов Н. А.* Из воспоминаний Л. Я. Гуревич о журнале «Северный вестник». Статья первая // Литературный факт. 2021. № 1 (19).
12. *Павлова М. М.* Из воспоминаний Л. Я. Гуревич о журнале «Северный вестник». Статья вторая //Там же. 2021. № 3 (21).
13. *Павлова М.* «Этот пресловутый плевок в лицо...»: из истории журнала *Северный вестник* // New Studies in Modern Russian Literature and Culture: Essays in Honor of Stanley J. Rabinowitz / ed. by Catherine Ciepela and Lazar Fleishman. Stanford: Dep. of Slavic lang. a. lit., Stanford univ., 2014. (Stanford Slavic Studies; vol. 45).
14. Письма З. Н. Гиппиус к А. Л. Волынскому / публ. А. Л. Евстигнеевой и Н. К. Пушкаревой // Минувшее: исторический альманах. М.; СПб.: Atheneum, Феникс, 1993. [Т.] 12.
15. Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети / publication, commentaires et notes de Rosina Neginsky // Revue des études slaves. Paris, 1995. T.67. Fask. 1; T. 68. Fask. 2—3.
16. *Сапожков С. В.* Библиография Н. М. Минского. Часть 1 // Литературный факт. 2019. № 1 (19); Части 2—3 // Там же. 2021. № 2 (20).
17. *Сапожков С. В.* К истории «Шекспировского кружка» в Санкт-Петербурге (по новым материалам) // Вопросы филологии и преподавания филологических дисциплин: сб. науч. и публ. статей, посвященных памяти проф. А. П. Ауэра. Коломна: Гос. социально-гуманитарный ун-т, 2017. Вып. II.
18. *Сологуб Ф.* Письма к Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынскому / публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л.: Наука, 1974.
19. *Rabinowitz Stanley J.* From the Early History of Russian Symbolism: unpublished Materials on Fedor Sologub, Akim Volynsky, and Lyubov' Gurevich // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1994. Vol. XXVII. P. 126.
20. *Rabinowitz Stanley J.* No Room of Her Own: The Early Life and Career of Liubov' Gurevich // The Russian Review. 1998. № 57 (April).